

ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАК

Блеск и нищета куртизанок



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Зарубежная классика (АСТ)

Оноре де Бальзак

Блеск и нищета куртизанок

«АСТ»

1847

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)

де Бальзак О.

Блеск и нищета куртизанок / О. де Бальзак — «АСТ»,
1847 — (Зарубежная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-068867-8

«Блеск и нищета куртизанок» – один из самых известных романов цикла «Человеческая комедия», посвященных тайной стороне жизни высшего парижского общества. Как обольстительны и коварны нравы парижского света, как жестоки и безжалостны его законы! Множество судеб, сплетенных интригами, жадной славой, любовью, предательством в тугой узел, разрубить который оказывается способна лишь трагическая смерть красавицы куртизанки Эстер и Люсьена де Рюампре – главных героев романа Бальзака.

УДК 821.133.1

ББК 84(4Фра)

ISBN 978-5-17-068867-8

© де Бальзак О., 1847

© АСТ, 1847

Содержание

Часть первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Оноре де Бальзак

Блеск и нищета куртизанок

© Перевод. Н.Г. Яковлева, наследники, 2010

© ООО «Издательство АСТ», 2017

Его светлости князю Альфонсо Серафино ди Порциа.

Позвольте мне поставить Ваше имя в начале произведения истинно парижского, обдуманного в Вашем доме в последние дни. Разве не естественно преподнести Вам цветы красноречия, возвращенные в Вашем саду и орошенные слезами сожалений, давших мне познать тоску по родине, которую утешали Вы в те часы, когда я бродил в boschetti и вязы напоминали мне Елисейские поля? Быть может, этим я искуплю свою вину в том, что, глядя на Диото, я мечтал о Париже, что на чистых и красивых плитах Porta Renza я вздыхал о наших грязных улицах. Когда я подготовлю к выходу в свет книги, достойные посвящения миланским дамам, я буду счастлив упомянуть в них имена, столь любезные сердцу Ваших старинных итальянских новеллистов, избранные мною среди имен любимых нами женщин, которым и попрошу напомнить об искренне преданном Вам

де Бальзаке.

Июль 1838 г.

Часть первая

Как любят эти девушки

В 1824 году, на последнем бале в Опере, многие маски восхищались красотой молодого человека, который прогуливался по коридорам и фойе, то ускоряя, то замедляя шаг, как обычно прохаживается мужчина в ожидании женщины, по какой-то причине опоздавшей на свидание. В тайну подобной походки, то степенной, то торопливой, посвящены только старые женщины да некоторые присяжные бездельники. В толпе, где столько условленных встреч, редко кто наблюдает друг за другом: слишком пламенны страсти, самая Праздность слишком занята. Юный денди, поглощенный тревожным ожиданием, не замечал своего успеха: насмешливо-восторженные возгласы некоторых масок, неподдельное восхищение, едкие *lazzis*¹, нежнейшие слова – ничто его не трогало, он ничего не видел, ничему не внимал. Хотя по праву красоты он принадлежал к тому особому разряду мужчин, которые посещают балы в Опере ради приключений и ожидают их, как ожидали при жизни Фраскати счастливой ставки в рулетке, все же казалось, что он по-мещански был уверен в счастливом исходе нынешнего вечера; он являлся, видимо, героем одной из тех мистерий с тремя лицедеями, в которых заключается весь смысл костюмированного бала в Опере и которые представляют интерес лишь для того, кто в них участвует; ибо молодым женщинам, приезжающим сюда только за тем, чтобы потом сказать: «Я там была», провинциалам, неискушенным юношам, а также иностранцам Опера в дни балов должна казаться каким-то чертогом усталости и скуки. Для них эта черная толпа, медлительная и суетливая одновременно, что движется туда и обратно, извивается, кружится, снова начинает свой путь, поднимается, спускается по лестницам, напоминая собою муравейник, столь же непостижима, как Биржа для крестьянина из Нижней Бретани, не подозревающего о существовании Книги государственных долгов. В Париже, за редкими исключениями, мужчины не надевают маскарадных костюмов: мужчина в домино кажется смешным. В этой боязни смешного проявляется дух нации. Люди, желающие скрыть свое счастье, могут пойти на бал в Оперу, но не появиться там, а тот, кто вынужден взойти туда под маской, может тотчас же оттуда удалиться. Занимательнейшее зрелище представляет собою то столпотворение, которое с момента открытия бала образуется у входа в Оперу из-за встречного потока людей, спешащих ускользнуть от тех, кто туда входит. Итак, мужчины в масках – это ревнивые мужья, выслеживающие своих жен, или мужья-волокиты, спасающиеся от преследования жен: положение тех и других равно достойно осмеяния. Между тем за юным денди, не замечаемый им, следовал, перекатываясь, как бочонок, толстый и коренастый человек в маске разбойника. Завсегдатаи Оперы угадывали в этом домино какого-нибудь чиновника или биржевого маклера, банкира или нотариуса, короче сказать, какого-нибудь буржуа, заподозрившего свою благоверную. И в самом деле, в высшем свете никто не гонится за унижительными доказательствами. Уже несколько масок, смеясь, указывали друг другу на этого зловещего субъекта, кое-кто окликнул его, какие-то юнцы над ним подшучивали; всем своим видом и осанкой этот человек выказывал явное пренебрежение к пустым остроумам: он шел вслед юноше, как идет кабан, когда его преследуют, не замечая ни лая собак, ни свиста пуль вокруг себя. Пусть с первого взгляда забава и тревога облачены в один и тот же наряд – знаменитый черный венецианский плащ – и пусть на маскараде в Опере все условно, однако ж там встречаются, узнают друг друга и взаимно друг за другом наблюдают люди различных слоев парижского общества. Есть приметы, столь точные для посвященных, что эта Черная книга вожелдений читается как занимательный роман. Завсегдатаи не могли счесть этого человека за счастливого любовника, потому что

¹ Шутки-импровизации в итальянской комедии масок (*шт.*).

он непременно носил бы какой-нибудь особый знак, красный, белый или зеленый, указывающий на заранее условленное свидание. Не шло ли тут дело о мести? Кое-кто из праздношатающихся, заметив маску, что следовала столь неотступно за этим баловнем счастья, снова вглядывался в красивое лицо, на котором наслаждение оставило свой дивный отпечаток. Молодой человек возбуждал интерес: чем дальше, тем больше он подстрекал любопытство. Впрочем, все в нем говорило о привычках светской жизни. Согласно роковому закону нашей эпохи, мало что отличает как в физическом, так и в нравственном отношении изысканнейшего и благовоспитаннейшего сына какого-нибудь герцога или пэра от прекрасного юноши, которого совсем недавно в самом центре Парижа душили железные руки нищеты. Под красотой и юностью могли таиться глубочайшие бездны, как и у многих молодых людей, которые желают играть роль в Париже, не обладая средствами, соответствующими их притязаниям, и все ставят на карту, чтобы сорвать банк, каждодневно принося себя в жертву Случаю, наиболее чтимому божеству этого царственного города. Его одежда, движения были безукоризненны, он ступал по классическому паркету фойе, как завсегдатай Оперы. Кто не примечал, что здесь, как и во всех сферах парижской жизни, принята особая манера держаться, по которой можно узнать, кто вы такой, что вы делаете; откуда прибыли и зачем?

– Как хорош этот молодой человек! Здесь позволительно оглянуться, чтобы на него посмотреть, – сказала маска, в которой завсегдатаям балов легко было признать даму из общества.

– Неужели вы его не помните? – отвечал мужчина, с которым она шла под руку. – Госпожа дю Шатле, однако ж, вам его представила.

– Что вы? Неужели это тот самый аптекарский сынок, в которого она влюбилась? Тот, что стал журналистом, любовник Корали?

– Я думал, он пал чересчур низко, чтобы когда-нибудь встать на ноги, и не понимаю, как он мог опять появиться в парижском свете, – сказал граф Сикст дю Шатле.

– Он похож на принца, – сказала маска, – и едва ли этим манерам его обучила актриса, с которой он жил; моя кузина, которая вывела его в свет, не сумела придать ему лоску; я очень желала бы познакомиться с возлюбленной этого Саржина, расскажите мне что-нибудь из его жизни, я хочу его заинтриговать.

За этой парой, которая, перешептываясь, наблюдала за юношей, пристально следила широкоплечая маска.

– Дорогой господин Шардон, – сказал префект Шаранты, взяв денди под руку, – позвольте вам представить даму, пожелавшую возобновить знакомство...

– Дорогой граф Шатле, – отвечал молодой человек, – когда-то эта дама открыла мне, насколько смешно имя, которым вы меня называете. Указом короля мне возвращена фамилия моих предков со стороны матери, Рюбампре. Хотя газеты и оповестили об этом событии, все же оно касается лица, столь ничтожного, что я, не краснея, напоминаю о нем моим друзьям, моим недругам и людям ко мне равнодушным; в вашей воле отнести себя к тем или к другим, но я уверен, что вы не осудите поступка, подсказанного мне советами вашей жены, когда она была всего лишь госпожой де Баржетон. (Учтивая колкость, вызвавшая улыбку маркизы, бросила в дрожь префекта Шаранты.) Скажите ей, – продолжал Люсьен, – что мой герб: *огненно-пламенной червлени щит, а в середине щита, поверх той же червлени, на зеленом поле, взъяренный бык из серебра.*

– Взъяренный... из-за серебра?.. – повторил Шатле.

– Госпожа маркиза объяснит вам, если вы того не знаете, почему этот древний гербовый щит стоит больше, чем камергерский ключ и золотые пчелы Империи, изображенные на вашем гербе, к великому огорчению госпожи Шатле, *урожденной Негрелис д'Эспар...* – сказал с живостью Люсьен.

– Раз вы меня узнали, я не могу уже интриговать вас, но не умею выразить, как сильно вы сами меня заинтриговали, – сказала ему шепотом маркиза д’Эспар, крайне удивленная дерзостью и самоуверенностью человека, которым она когда-то пренебрегла.

– Позвольте же мне, сударыня, пребывая по-прежнему в этой таинственной полутени, сохранить единственную возможность присутствовать в ваших мыслях, – сказал он, улыбнувшись, как человек, который не желает рисковать достигнутым успехом.

Маркиза невольным жестом выдала свое недовольство, почувствовав, что Люсьен, как говорят англичане, *срезал* ее своей прямоотой.

– Поздравляю вас с переменой вашего положения, – сказал граф дю Шатле Люсьену.

– Готов принять ваше поздравление с тою же приязнью, с какою вы мне его приносите, – отвечал Люсьен, с отменной учтивостью откланиваясь маркизе.

– Фат! – тихо сказал граф маркизе д’Эспар. – Ему все же удалось приобрести предков.

– Фатовство молодых людей, когда оно задевает нас, говорит почти всегда о большой удаче, меж тем как у людей вашего возраста оно говорит о неудачной жизни. И я желал бы знать, которая из наших приятельниц взяла эту райскую птицу под свое покровительство, тогда, возможно, мне удалось бы сегодня вечером позабавиться. Анонимная записка, которую я получила, несомненно, злая шалость какой-нибудь соперницы, ведь там речь идет об этом юноше, он дерзил по чьему-то указанию; последите за ним. Я пойду под руку с герцогом де Наварреном, вам будет нетрудно меня найти.

В ту минуту, когда г-жа д’Эспар уже подходила к своему родственнику, таинственная маска встала между нею и герцогом и сказала ей на ухо:

– Люсьен вас любит, он автор записки, префект его ярый враг, мог ли он при нем объясниться?

Незнакомец удалился, оставив г-жу д’Эспар во власти двойного недоумения. Маркиза не знала в свете никого, кто мог бы взять на себя роль этой маски; опасаясь западни, она села поодаль, в укромном уголке. Граф Сикст дю Шатле, фамилию которого Люсьен с показной небрежностью, скрывавшей издавна взлелеянную месть, лишил льстившей его тщеславию частицы *дю*, последовал, держась на расстоянии, за блистательным денди. Вскоре он повстречал молодого человека, с которым счел возможным говорить откровенно.

– Ну что ж, Растиньяк, вы видели Люсьена? Он неузнаваем.

– Будь я хорош, как он, я был бы еще богаче, – ответил молодой щеголь легкомысленным, но лукавым тоном, в котором сквозила тонкая насмешка.

– Нет, – сказала ему на ухо тучная маска, отвечая на насмешку тысячью насмешек, скрытых в интонации, с которой было произнесено это односложное слово.

Растиньяк отнюдь не принадлежал к породе людей, сносящих оскорбление, но тут он замер, как бы пораженный молнией, и, чувствуя свое бессилие перед железной рукой, упавшей на его плечо, позволил отвести себя в нишу окна.

– Послушайте, вы, петушок из птичника мамыши Воке, у которого не хватило отваги подцепить миллионы папаши Тайфера, когда самое трудное было уже сделано! Знайте, если вы не станете, ради вашей личной безопасности, обращаться с Люсьеном как с любимым братом, вы в наших руках, а мы не в вашей власти. Молчание и покорность, иначе я вступлю в игру, и ваши козыри будут биты. Люсьен де Рюампре состоит под покровительством церкви, самой могущественной силы наших дней. Выбирайте между жизнью и смертью. Итак, ваш ответ!

На одно мгновение у Растиньяка, точно у человека, задремавшего в лесу и проснувшегося бок о бок с голодной львицей, помутилось сознание. Ему стало страшно, но никто этого не видел; в таких случаях самые отважные люди поддаются чувству страха.

– *Он* один может знать... и осмелиться... – пробормотал он.

Маска сжала ему руку, желая помешать окончить фразу.

– Действуйте, как если бы то был *он*, – сказал неизвестный.

Тогда Растиньяк поступил подобно миллионеру, взятому на мушку разбойником с большой дороги: он сдался.

– Дорогой граф, – сказал он, опять подойдя к Шатле, – если вы дорожите вашим положением, обращайтесь с Люсьеном де Рюампре как с человеком, которому предстоит подняться гораздо выше вас.

Маска неприметным жестом выразила удовлетворение и опять двинулась вслед за Люсьеном.

– Дорогой мой, вы слишком поспешно переменили мнение на его счет, – отвечал префект, выразив законное удивление.

– Не более поспешно, чем те лица, которые, принадлежа к центру, отдают голос правым, – отвечал Растиньяк этому префекту-депутату, который с недавней поры перестал голосовать за министерство.

– Разве ныне существует мнение? Существует лишь выгода, – заметил де Люпо, слушавший их. – О ком идет речь?

– О господине де Рюампре. Растиньяк желает преподнести его мне как важную персону, – сказал депутат генеральному секретарю.

– Милый граф, – отвечал ему де Люпо чрезвычайно серьезно, – господин де Рюампре весьма достойный молодой человек, состоящий под высоким покровительством, и я почел бы за счастье возобновить с ним знакомство.

– Вот сейчас он попадетя в ловушку, которую ему расставили наши повесы! – воскликнул Растиньяк.

Три собеседника обернулись в ту сторону, где собралось несколько остроумцев, людей более или менее знаменитых и несколько щеголей. Господа эти обменивались наблюдениями, шутками, сплетнями, желая потешиться или ожидая потехи. В этой группе, столь причудливо подобранной, находились люди, с которыми Люсьена когда-то связывали сложные отношения показной благосклонности и тайного недоброжелательства.

– А! Люсьен, дитя мое, ангел мой, вот мы и оперились, приукрасились! Откуда мы? Стало быть, при помощи даров, исходящих из будуара Флорины, мы снова на щите? Право, мой мальчик! – обратился к нему Блонде, и, оставив Фино, он бесцеремонно обнял Люсьена и прижал его к своей груди.

Андош Фино был издателем журнала, в котором Люсьен работал почти даром и который Блонде обогащал своим сотрудничеством, мудростью советов и глубиной взглядов. Фино и Блонде олицетворяли собою Бертрана и Ратона, с тою лишь разницей, что лафонтеновский кот разоблачил наконец обманщиков, а Блонде, зная, что он одурачен, по-прежнему служил Фино. Этот блистательный наемник пера и в самом деле долгое время вынужден был сносить рабство. Фино таил грубую напористость под обличем увальня, под махровой глупостью наглеца, чуть приправленной остроумием, как хлеб чернорабочего чесноком. Он умел приберечь то, что подбирал на поприще рассеянной жизни, которую ведут люди пера и политические дельцы: мысли и золото. Блонде, на свое несчастье, отдавал свои силы в услужение порокам и праздности. Вечно подстерегаемый нуждою, он принадлежал к злосчастной породе людей, которые способны на все ради пользы ближнего и шагу не сделают ради своей собственной, – к породе Аладдинов, отдавших свою лампу в займы. Эти бесподобные советчики обнаруживают проницательный и ясный ум, когда дело не касается их личных интересов. У них работает голова, а не руки. Отсюда беспорядочность их жизни, отсюда и те упреки, которыми их осыпают люди ограниченные. Блонде делился кошельком с товарищем, которого накануне оскорбил; он обедал, пил, спал с тем, кого завтра мог погубить. Его забавные парадоксы служили всему оправданием. Он все в мире воспринимал как забаву и не желал, чтобы его самого принимали всерьез. Юный, удачливый, всеми любимый, чуть ли не знаменитый, он не заботился, подобно Фино, о том, чтобы накопить состояние, необходимое для человека в зрелом возрасте.

Если бы Люсьен в эту минуту срезал Блонде, как срезал г-жу д'Эспар и Шатле, быть может, он проявил бы величайшее мужество. Только что его тщеславие восторжествовало: он предстал богатым, счастливым и высокомерным перед двумя особами, которые пренебрегли когда-то бедным и жалким юношей; но мог ли поэт, уподобясь искушенному дипломату, резко порвать с двумя так называемыми друзьями, приголубившими его в пору невзгод, приютившими в бедственные дни? Фино, Блонде и он сам вместе катились по наклонной плоскости, проводя время в кутежах, пожиравших только деньги их заимодавцев. И вот, уподобясь солдату, который не умеет найти достойного применения своему мужеству, Люсьен поступил, как поступают многие парижане: он снова пожертвовал своим достоинством, ответив на рукопожатие Фино и не отклонив любезностей Блонде. Кто ранее был причастен к журналистике или еще по сию пору к ней причастен, тот вынужден в силу жестокой необходимости раскланиваться с теми, кого он презирает, улыбаться злейшему недругу, мириться с любыми низостями, пачкать себе руки, желая воздать обидчикам их же монетой. Привыкают равнодушно смотреть, как творится зло; сначала его приемлют, затем и сами творят его. Со временем душа, непрерывно оскверняемая сделками с совестью, мельчает, пружины благородных мыслей ржавеют, петельные крючья пошлости разбалтываются и начинают вращаться сами собою. Альцесты становятся Филинтами, воля расслабляется, таланты растлеваются, вера в прекрасное творчество угасает. Тот, кто мечтал о книгах, которыми он мог бы гордиться, растрчивает силы на ничтожные статейки, и рано или поздно совесть упрекнет его за них, как за постыдный проступок. Готовишься, подобно Лусто, подобно Верну, стать великим писателем, а оказываешься жалким писакой. Стало быть, выше всяческих похвал стоят люди, характер которых на высоте их таланта, – д'Артезы, умеющие шагать твердой поступью между рифами литературной жизни. Люсьен не мог противостоять вкрадчивости Блонде, который по самому складу своего ума оказывал на него неодолимое, растлевающее влияние, сохраняя превосходство развратителя над учеником, а к тому же он занимал отличное положение в свете благодаря своей связи с графиней де Монкорне.

– Вы получили наследство от какого-нибудь дядюшки? – насмешливо спросил его Фино.

– Я беру пример с вас: стригу глупцов, – в тон ему отвечал Люсьен.

– Не обзавелся ли, случайно, господин де Рюампре каким-нибудь журналом или газетой? – продолжал Андош Фино с наглой самоуверенностью, свойственной эксплуататору в обращении с эксплуатируемым.

– Я приобрел нечто лучшее, – сказал Люсьен, тщеславие которого, уязвленное подчеркнутым самодовольством главного редактора, напоминало ему о новом его положении.

– Что же вы приобрели, дорогой мой?..

– Я приобрел партию.

– Существует партия Люсьена? – усмехнулся Верну.

– Видишь, Фино, этот юнец обошел тебя, я тебе это предсказывал. Люсьен талантлив, а ты его не берег, помыкал им. Пеняй на себя, дуралей! – воскликнул Блонде.

Хитрый, как лиса, Блонде почуял, что немало тайн скрыто в интонациях, движениях, осанке Люсьена; он оболыщал его, в то же время своими льстивыми словами крепче натягивая удила. Он желал знать причину возвращения Люсьена в Париж, его намерения, его средства к существованию.

– На колени перед величием, которого тебе никогда не достигнуть, хоть ты и Фино! – продолжал он. – Примем же этого господина, и тотчас же, в компанию сильных мира сего, которым принадлежит будущее: он наш! Он остроумен и прекрасен, кому же еще, как не ему, достигнуть цели твоими же *quibuscumque viis*². Вот он, в славных миланских доспехах, при нем могучий, полуобнаженный меч и рыцарское знамя! Черт возьми! Люсьен, откуда ты выкрал

² Любыми путями (*лат.*).

этот чудесный жилет? Только любовь способна отыскивать подобные ткани. У нас есть дом? В настоящее время мне нужны адреса моих друзей, мне негде ночевать. Фино выгнал меня сегодня под пошлым предлогом любовной удачи.

– Мой дорогой, я применяю на практике аксиому, следуя которой можно с уверенностью прожить спокойно: *fuge, late, tace*³. Я вас покидаю, – отвечал Люсьен.

– Но я тебя не покину, покуда ты со мною не расчелся. Вспомни-ка один священный долг: обещанный нам скромный ужин! – сказал Блонде, очень любивший вкусно поесть и требовавший, чтобы его угощали, когда у него не было денег.

– Какой ужин? – спросил Люсьен, не скрыв нетерпеливого движения.

– Не помнишь? Вот в чем я вижу признак процветания друга; он утратил память.

– Люсьен знает, что он у нас в долгу; за его совесть я готов поручиться, – заметил Фино, поддерживая шутку Блонде.

– Растиньяк, – сказал Блонде, взяв под руку молодого щеголя в ту минуту, когда тот проходил по фойе, направляясь к колонне, подле которой стояли его так называемые друзья, – речь идет об ужине: вы составите нам компанию... Если только этот господин, – продолжал он серьезным тоном, указывая на Люсьена, – не станет упорно отрицать долг чести... С него станется!..

– Я ручаюсь, что господин де Рюбампре на это не способен, – сказал Растиньяк, менее всего подозревавший о мистификации.

– Вот и Бисиу! – воскликнул Блонде. – Он тоже к нам примкнет: без него нам ничто не мило. Без него и шампанское склеивает язык, и все кажется пресным, даже перец эпиграммы.

– Друзья мои, – начал Бисиу, – я вижу, что вы объединились вокруг чуда нынешнего дня. Наш милый Люсьен воскрешает «Метаморфозы» Овидия. Подобно тому как боги, ради обольщения женщин, превращались в какие-то необыкновенные овощи и во всякую всячину, они превратили Шардона⁴ в дворянина, чтобы обольстить... кого? Карла Десятого! Люсьен, голубчик мой, – сказал он, взяв его за пуговицу фрака, – журналист, метящий в вельможи, заслуживает изрядной шумихи. Я бы на их месте, – добавил неумолимый насмешник, указывая на Фино и Верну, – тиснул о тебе статейку в своей газете; ты принес бы им за десять столбцов остроумия сотню франков.

– Бисиу, – сказал Блонде, – мы чтим Амфитриона целых двадцать четыре часа перед началом пиршества и двенадцать часов после пиршества: наш знаменитый друг дает нам ужин.

– Как? Что? – возразил Бисиу. – Но разве не самое главное спасти от забвения великое имя, подарить бездарной аристократии талантливого человека? Люсьен, ты в почете у прессы, лучшим украшением коей ты был, и мы тебя поддержим. Фино, передовую статью! Блонде, коварную тираду на четвертой странице твоей газеты! Объявим о выходе в свет прекраснейшей книги нашей эпохи *Лучник Карла IX!* Будем умолять Дориа срочно издать *Маргаритки*, божественные сонеты французского Петрарки! Поднимем нашего друга на щит из гербовой бумаги, что создает и рушит репутации!

– Если ты хочешь поужинать, – сказал Люсьен, обращаясь к Блонде, ибо он желал избавиться от этой шайки, грозившей увеличиться, – мне кажется, тебе нет нужды прибегать к помощи гиперболы и параболы в разговоре со старым другом, точно он какой-нибудь простак. Завтра вечером у Луантье, – быстро добавил он и поспешил навстречу женщине, шедшей в их сторону.

– О! о! о! – насмешливо протянул Бисиу, меняя тон при каждом восклицании и словно узнавая маску, к которой устремился Люсьен. – Сие заслуживает подтверждения.

³ Беги, таись, молчи (*лат.*).

⁴ Шардон (Chardon) – чертополох (*фр.*).

И он пошел вслед красивой паре, обогнал ее, оглядел пронизательным оком и воротился к большому удовлетворению всех этих завистников, любопытствующих узнать, откуда протекает перемена в судьбе юноши.

– Друзья мои, предмет счастливой страсти его светлости господина де Рюампре вам хорошо знаком, – сказал им Бисиу. – Это бывшая «крыса» де Люпо.

Одним из видов разврата, ныне забытым, но распространенным в начале нашего века, было чрезмерное пристрастие к так называемым крысам. «Крысой» – это прозвище ныне устарело – называли девочку десяти-одиннадцати лет, статистку какого-нибудь театра, чаще всего Оперы, которую развратники готовили для порока и бесчестия. «Крыса» была своего рода сатанинским пажом, мальчишкой женского пола, ей прощались любые выходки. Для «крысы» не было ничего запретного, ее следовало остерегаться, как опасного животного; но она, как некогда Скапен, Сганарель и Фронтен в старинной комедии, вносила в жизнь искорку веселья. «Крыса» обходилась чрезвычайно дорого и не служила ни к чести, ни к выгоде, ни к счастью; мода на «крыс» настолько забыта, что теперь мало кто знал бы об этой интимной подробности светской жизни в эпоху, предшествующую Реставрации, если бы некоторые писатели не возродили «крысу» в качестве новой темы.

– Как! Люсьен, уморив Корали, похитил у нас Торпиль? – воскликнул Блонде.

Услышав это имя, атлет в черном домино невольно сделал движение, хотя и сдержанное, но подмеченное Растиньяком.

– Этого быть не может! – отвечал Фино. – У Торпиль нет ни гроша, ей нечего ему дать; мне сказал Натан, что она заняла тысячу франков у Флорины.

– Ах! Господа, господа!.. – сказал Растиньяк, пытаясь защитить Люсьена от гнусных обвинений.

– Полноте! – вскричал Верну. – Так ли уж шепетилен бывший *содержанец* Корали?

– О! Эта тысяча франков, – сказал Бисиу, – доказывает мне, что наш друг Люсьен живет с Торпиль...

– Какая невозместимая утрата постигла цвет литературы, науки, искусства и политики! – сказал Блонде. – Торпиль – единственная непотребная девка с прекрасными данными для настоящей куртизанки; она не испорчена образованием, она не умеет ни читать, ни писать; она поняла бы нас. Мы одарили бы нашу эпоху одной из тех великолепных фигур в духе Аспазии, без коих нет великого века. Посмотрите, как Дюбарри подходит к восемнадцатому веку, Нинон де Ланкло к семнадцатому, Марион Делорм к шестнадцатому, Империя к пятнадцатому, Флора к римской республике, которую она сделала своей наследницей, – этим наследством был оплачен государственный долг республики! Чем был бы Гораций без Лидии, Тибулл без Делии, Катулл без Лесбии, Проперций без Цинтии, Деметрий без Ламии – которые и поныне создают им славу!

– Блонде, трактующий в фойе Оперы о Деметрии, – сюжет во вкусе *Деба*, – сказал Бисиу на ухо своему соседу.

– Не будь этих владычиц, что случилось бы с империей Цезарей? – продолжал Блонде. – Лаиса и Родопис – это Греция и Египет. Все они, впрочем, воплощенная поэзия веков, в которые они жили. Этой поэзией, которой пренебрег Наполеон, – ибо вдова его великой армии не более как казарменная шутка, – Революция не пренебрегла: у нее была госпожа Тальен! Сейчас во Франции, где нет отбоя от претендентов на престол, трон свободен! Мы могли бы создать королеву. Я наградил бы Торпиль какой-нибудь теткой, ибо ее мать, что слишком достоверно, умерла на поле бесчестия, дю Тийе оплатил бы особняк, Лусто карету, Растиньяк слуг, де Люпо повара, Фино шляпы (Фино не мог скрыть невольного движения, получив в упор эту колкость), Верну создал бы ей рекламу, Бисиу придумывал бы для нее острооты! Аристократия наезжала бы к нашей Нинон повеселиться, мы созывали бы к ней артистов под угрозой смертоносных статей. Нинон Вторая славилась бы великолепной дерзостью, ошеломляющей роскошью. У нее

были бы свои убеждения. У нее читали бы запрещенные драматические шедевры, их сочиняли бы нарочно, если бы понадобилось. Она не была бы либеральна, – куртизанки по природе монархистки. Ах, какая утрата! Она была рождена, чтобы заключить в объятия целый век, а милуется с каким-то юнцом! Люсьен обратит ее в охотничью собаку!

– Ни одна из властительниц, упомянутых тобою, не шаталась по улицам, а эта красивая «крыса» вывалилась в грязи, – заметил Фино.

– Подобно лилии в перегное, – подхватил Верну. – Она в нем выросла, она в нем расцвела. Отсюда ее превосходство. Не надо ли все испытать, чтобы обрести способность смеяться и радоваться по поводу всего?

– Он прав, – сказал Лусто, до той поры хранивший молчание. – Торпиль умеет смеяться и смешить. Это искусство, присущее великим писателям и великим актерам, дается лишь тем, кто изведал все социальные глубины. В восемнадцать лет эта девушка познала вершины богатства, бездны нищеты, людей всех сословий. Она как будто владеет волшебной палочкой, с ее помощью она разнуздывает животные инстинкты, столь насильственно подавленные у мужчины, который все еще не остыл сердцем, хотя и занимается политикой, наукой, литературой или искусством. В Париже нет женщины, которая осмелилась бы, подобно ей, сказать Животному: «Изыди!» И Животное покидает свое логово и предается излишествам. Торпиль насыщает вас по горло, она побуждает вас пить, курить. Словом, эта женщина – соль, воспетая Рабле; брошенная в вещество, она оживляет его, возносит до волшебных областей Искусства. Одежда ее являет небывалое великолепие, ее пальцы, когда это нужно, роняют драгоценные камни, как уста – улыбки; она умеет каждое явление видеть в свете создавшихся обстоятельств; ее речь искрится острыми словцами, она владеет искусством звукоподражания и создаст слова самые красочные и ярко окрашивающие все; она...

– Ты теряешь пять франков за фельетон, – перебил его Бисиу. – Торпиль несравненно лучше. Все вы были более или менее ее любовниками, но никто из вас не может сказать, что она была его любовницей; она всегда вольна обладать вами, но вы ею – никогда. Вы вламываетесь к ней, вы умоляете ее...

– О! Она великодушнее удачливого предводителя разбойничьей шайки и преданнее самого лучшего школьного товарища, – воскликнул Блонде, – ей можно доверить кошелек и тайну! Но вот за что я избрал бы ее королевой: она, подобно Бурбонам, равнодушна к павшему фавориту.

– Она, как и ее мать, чрезвычайно дорога, – сказал де Люпо. – Прекрасная Голландка могла бы расправиться с состоянием толедского архиепископа, она пожрала двух нотариусов...

– И кормила Максима де Трай, когда он был пажом, – прибавил Бисиу.

– Торпиль чрезвычайно дорога, так же как Рафаэль, как Карем, как Тальони, как Лоуренс, как Буль, как были дороги все гениальные художники... – заметил Блонде.

– Но никогда Эстер по своей внешности не походила на порядочную женщину, – сказал Растиньяк, указав на маску, которую Люсьен вел под руку. – Бьюсь об заклад, что это госпожа де Серизи.

– В том нет сомнения, – поддержал его Шатле, – и удача господина де Рюампре объяснима.

– Ах! Церковь умеет выбирать своих левитов! Какой из него выйдет очаровательный секретарь посольства! – воскликнул де Люпо.

– Тем более, – продолжал Растиньяк, – что Люсьен талантлив. Эти господа имели тому не одно доказательство, – добавил он, глядя на Блонде, Фино и Лусто.

– Да, наш юнец далеко пойдет, – сказал Лусто, раздраемый завистью, – тем более что у него есть то, что мы называем независимостью мысли...

– Твое творение, – сказал Верну.

– Так вот, – заключил Бисиу, глядя на де Люпо, – я взываю к воспоминаниям господина генерального секретаря и докладчика Государственного совета; маска – не кто иная, как Торпиль, держу на ужин...

– Принимаю пари, – сказал Шатле, желавший узнать истину.

– Послушайте, де Люпо, – сказал Фино, – попытайтесь признать по ушам вашу бывшую «крысу».

– Нет нужды оскорблять маску, – снова заговорил Бисиу, – Торпиль и Люсьен, возвращаясь в фойе, пройдут мимо нас, и я берусь доказать вам, что это она.

– Стало быть, наш друг Люсьен опять всплыл на поверхность, – сказал Натан, присоединившийся к ним, – а я думал, что он воротился в ангулемские края, чтобы скоротать там свои дни. Не открыл ли он какого-нибудь секретного средства против кредиторов?

– Он сделал то, чего ты так скоро не сделаешь, – отвечал Растиньяк, – он заплатил все долги.

Тучная маска кивнула в знак одобрения.

– Когда молодой человек в его возрасте остепеняется, он в какой-то степени обкрадывает себя, утрачивает задор, превращается в рантье, – заметил Натан.

– О! Этот останется вельможей, он никогда не утратит возвышенности мысли. Вот что обеспечит ему превосходство над многими так называемыми возвышенными людьми, – отвечал Растиньяк.

В эту минуту все они – журналисты, денди, бездельники – изучали, как барышники изучают лошадь, обворожительный предмет их пари. Эти судьи, умудренные долгим опытом парижского беспутства, и каждый в своем роде человек недюжинного ума, в равной мере развращенные, в равной мере развратители, посвятившие себя удовлетворению необузданного честолюбия, приученные все предполагать, все угадывать, следили горящими глазами за женщиной в маске – за женщиной, узнать которую могли только они. Только они одни, да еще несколько завсегдатаев балов в Опере могли заметить под длинным черным саваном домино, под капюшоном, под ниспадающим воротником, которые до неузнаваемости меняют облик женщины, округлость форм, особенности осанки и поступи, гибкость стана, посадку головы, приметы, наименее уловимые обычным глазом и бесспорные для них. Они могли наблюдать, несмотря на бесформенное одеяние, самое волнующее из зрелищ: женщину, одушевленную истинной любовью. Была ли то Торпиль, герцогиня де Мофриньез или г-жа де Серизи, низшая или высшая ступень социальной лестницы, это создание являлось дивным творением, воплощенной любовной грезой. Юные старцы, как и старые юнцы, поддавшись очарованию, позабывали высокому дару Люсьена превращать женщину в богиню. Маска держала себя так, словно она была наедине с Люсьеном: для этой женщины не существовало ни десятитысячной толпы, ни душного, насыщенного пылью воздуха. Нет! Она пребывала под божественным сводом Любви, как Мадонна Рафаэля под сенью своего золотого венца. Она не чувствовала толкотни, пламень ее взора проникал сквозь отверстия маски и сливался со взором Люсьена, и, казалось, по ней пробегал трепет при каждом движении ее друга. Где источник того огня, что окружает сиянием влюбленную женщину, отмечая ее среди всех? Где источник той легкости сильфиды, казалось, опровергавшей законы тяготения? Быть может, то воспаряющая ввысь душа? Быть может, то счастье, обретающее зримые черты? Девическая наивность, детская прелесть проступали сквозь домино. Эти два существа, пусть они шли только рядом, напоминали изваяние Флоры и Зефира, слившихся в объятии по воле искуснейшего скульптора: но то было нечто большее, нежели скульптура – высшее из искусств; Люсьен и его прелестное домино напоминали ангелов в окружении цветов и птиц, как их запечатлела кисть Джованни Беллини под изображениями Девы-Богоматери; Люсьен и эта женщина принадлежали миру Воображения, которое выше Искусства, как причина выше следствия.

Когда эта женщина, забывшая обо всем, проходила неподалеку от группы молодежи, Бисиу ее окликнул «Эстер!» Несчастливая живо обернулась на оклик, узнала коварного человека и опустила голову, – она была похожа на умирающую, которая выпускает последний вздох. По зале разнесся громкий смех, и молодые люди рассеялись в толпе, как стая вспугнутых полевых мышей, бегущих от обочины дороги в свои норки. Один лишь Растиньяк отошел на такое расстояние, чтобы не дать повода думать, будто он бежит от испепеляющих взоров Люсьена; он мог полюбоваться горем двух существ, пусть скрытым, но равно глубоким: сперва – бедная Торпиль, сраженная как бы ударом молнии, затем – непостижимая маска, единственная фигура из всей группы не двинувшаяся с места. Эстер в тот миг, когда ее ноги подкосились, успела что-то шепнуть на ухо Люсьену, и Люсьен, поддерживая ее, скрылся с нею в толпе. Растиньяк проводил взглядом красивую пару и глубоко задумался.

– Откуда у нее прозвище Торпиль⁵? – спросил мрачный голос, потрясший все его существо, ибо на сей раз он не был изменен.

– Значит, *он* опять бежал... – сказал Растиньяк в сторону.

– Молчи, или я тебя задушу, – отвечала маска уже другим голосом. – Я доволен тобой, ты сдержал слово, стало быть, наша помощь к твоим услугам. Будь отныне нем как могила; но прежде ответь на мой вопрос.

– Ну что ж! Эта девушка так пленительна, что могла бы покорить императора Наполеона, даже кого-нибудь еще более стойкого: тебя хотя бы! – отвечал Растиньяк, отходя прочь.

– Постой! – сказала маска. – Я докажу тебе, что ты меня нигде и никогда не видел.

Человек снял маску. Растиньяк одно мгновение колебался, он не находил в нем ничего общего с тем страшным существом, которое когда-то знал в пансионе Воке.

– Дьявол помог вам преобразить все, кроме глаз, их забыть нельзя, – сказал он ему.

Железная рука сжала его руку, повелевая хранить вечное молчание.

В три часа утра де Люпо и Фино застали изящного Растиньяка на том же месте, где его оставила страшная маска. Прислонившись к колонне, Растиньяк исповедовался самому себе: он был и духовником и кающимся, и обвинителем и обвиняемым. Они увели его завтракать; домой он вернулся совершенно пьяный, но безмолвный.

Улица Ланглад, так же как и соседние с ней улицы, позорит Пале-Рояль и улицу Риволи. На этой части одного из самых блистательных парижских кварталов – наследии холмов, образовавшихся из свалок старого Парижа, где некогда стояли мельницы, – еще долгое время будет лежать постыдное пятно. Узкие, темные и грязные улицы, где процветают не слишком чистолюбивые промыслы, ночью приобретают таинственный облик, полный резких противоположностей. Если идти от освещенных участков улицы Сент-Оноре, улицы Нев-де-Пти-Шан и улицы Ришелье, где непрерывно движется толпа, где блистают чудеса Промышленности, Моды и Искусства, то, попав в сеть улиц, окружающих этот оазис огней, который бросает свой отблеск в небо, человек, не знакомый с ночным Парижем, будет охвачен унынием и страхом. Непроглядная тьма сменяет потоки света, льющиеся от газовых фонарей. Время от времени тусклый керосиновый фонарь роняет неверный и туманный луч, не проникающий в темные тупики. Здесь мало прохожих, и они идут торопливой походкой. Лавки заперты, а те, что отперты, внушают опасение: это или грязный, полутемный кабачок, или бельевая лавка, где продают и одеколон. Пронизывающая сырость окутывает ваши плечи своим влажным плащом. Лишь изредка проедет карета. Здесь попадаются мрачные места, и среди них в особенности улица Ланглад, а также выход из проезда Сен-Гильом и некоторые повороты других улиц. Муниципальный совет ничего не сделал, чтобы оздоровить этот огромный лепрозорий, ибо проституция с давней поры обосновала здесь свою главную квартиру. Возможно, большое удобство для парижского высшего общества в том, что эти улицы не утрачивают своего гнусного облика. Но

⁵ Торпиль (Torpille) – электрический скат (*фр.*).

когда проходишь здесь днем, нельзя вообразить, во что превращаются эти улицы ночью: там блуждают причудливые существа из неправдоподобного мира, полуобнаженные белые фигуры вырисовываются на стенах домов, мрак оживлен. Между стенами и прохожими крадутся разряженные манекены, одушевленные и лепечущие. Из приотворенных дверей слышатся взрывы смеха. До ушей доносятся слова, которые Рабле почитал замороженными, между тем они тают. Им подпевают камни мостовой. То не беспорядочный шум, он что-то означает: если звук сиплый, стало быть – голос; если же он напоминает пение, в нем исчезает все человеческое, он подобен вою. Часто раздаются свистки. Чудится, что даже каблуки башмаков постукивают насмешливо и издевательски. Все в целом вызывает головокружение. Атмосферные условия там необычны: зимой жарко, летом холодно. Но какова бы ни была погода, это удивительное место являет собою вечно одно и то же зрелище: фантастический мир берлинца Гофмана. И самый трезвый человек не отыщет в нем ни малейшей реальности, когда, миновав эти труппы, он выйдет на приличные улицы, где встречаются прохожие, лавки и фонари. Администрация или современная политика, более высокомерные или более стыдливые, нежели королевы и короли прошедших времен, не опасавшиеся дарить своим вниманием куртизанок, уже не осмеливаются открыто заняться этой язвой столиц. Конечно, меры воздействия со временем видоизменяются, и те, которые касаются личности и ее свободы, следует применять со всей осторожностью, но, может быть, надлежало бы проявить широту и смелость в отношении условий чисто материальных, таких, как воздух, свет, жилища. Блюститель нравственности, художник и мудрый администратор будут сожалеть о старинных Деревянных галереях Пале-Рояля, где скучивались эти овцы, которые теперь появляются повсюду, где есть гуляющие; и не лучше ли было бы, чтобы гуляющие шли туда, где находятся овцы? Что же случилось? Ныне самые блистательные бульвары, место волшебных прогулок, стали недоступны по вечерам для людей семейных. Полиция, чтобы спасти места общественного гуляния, не сумела воспользоваться теми возможностями, какие в этом отношении представляют собой некоторые пассажи.

Женщина, сраженная возгласом на бале в Опере, жила уже два месяца на улице Ланглад, в доме, с виду весьма невзрачном. Это прилепившееся к стене огромного здания, скверно оштукатуренное, узкое и чрезвычайно высокое строение выходило окнами на улицу и весьма напоминало насест попугая. В каждом его этаже было по квартире из двух комнат. Дом обслуживался узкой лестницей, прижатой к самой стене и получавшей причудливое освещение через оконные пролеты, которыми снаружи обозначался марш лестницы; на каждой площадке стоял бак для нечистот – одна из самых омерзительных особенностей Парижа. Лавка и второй этаж принадлежали в то время жестянщику; домовладелец жил в первом этаже, остальные четыре были заняты гризетками, весьма приличными, заслужившими со стороны домовладельца и привратницы уважение и снисходительность тем более оправданные, что сдавать внаем дом, столь своеобразно построенный и дурно расположенный, было чрезвычайно трудно. Назначение этого квартала объясняется достаточно большим количеством домов, подобных этому, отвергаемых Торговлей и пригодных лишь для тех, кто занимается незаконным, ненадежным или бесчестным промыслом.

В три часа дня привратница, видевшая, как в два часа пополудни какой-то молодой человек привез полуживую мадемуазель Эстер, держала совет с гризеткой, жившей этажом выше; прежде чем сесть в карету и ехать кататься, та поделилась с ней тревогой за Эстер, потому что в ее квартире царил мертвая тишина. Эстер, наверное, еще спала, но этот сон был подозрителен. Привратница, сидя одна в своей каморке, сокрушалась, что не может подняться на четвертый этаж, где помещалась квартира мадемуазель Эстер, и расследовать, что там творится. В то время, когда она уже решила доверить сыну жестянщика охрану своего помещения – подобие ниши, вделанной в углубление стены во втором этаже, – у подъезда остановился фиакр. Человек, закутавшийся с головы до ног в плащ, с явным намерением скрыть свое одеяние или сан, вышел из экипажа и спросил мадемуазель Эстер. Тогда привратница совершенно

успокоилась; тишина и спокойствие в квартире затворницы стали ей совершенно понятны. Когда посетитель поднимался по лестнице, приходившейся как раз над ее каморкой, привратница заметила серебряные пряжки, украшавшие его башмаки; ей показалось также, что она разглядела черную бахрому на поясе сутаны. Она вышла и принялась расспрашивать кучера; его молчание было для привратницы красноречивым ответом. Священник постучал, никто не откликнулся; он услышал негромкие стоны и выломал плечом дверь с ловкостью, видимо, ниспосланной ему милосердием, в то время как у всякого другого это можно было бы приписать навыку. Он поспешил во вторую комнату, и там, перед Святой Девой из раскрашенного гипса, увидел бледную Эстер, стоявшую на коленях, вернее, упавшую со сложенными руками. Гризетка умирала. Жаровня с истлевшим углем говорила о событиях этого страшного утра. На полу валялись капюшон и накидка домино. Постель была не тронута. Бедная девушка, раненная в самое сердце, по-видимому, все подготовила по возвращении из Оперы. Фитиль свечи в застывшем стеарине на розетке подсвечника свидетельствовал, насколько Эстер была поглощена последними размышлениями. Платок, мокрый от слез, доказывал искренность отчаяния этой Магдалины, распростертой в классической позе нечестивой куртизанки. Эта полнота раскаяния вызвала у священника улыбку. Эстер, неопытная в искусстве покончить с собой, оставила дверь открытой, не рассчитав, что воздух двух комнат требовал большего количества угля, чтобы стать смертоносным; угар лишь одурманил ее; свежий воздух, хлынувший с лестницы, постепенно вернул ее к сознанию своих горестей. Священник по-прежнему стоял, погруженный в мрачное раздумье, равнодушный к божественной красоте девушки, и наблюдал, как постепенно возвращалось к ней сознание, точно перед ним было какое-нибудь животное. Его взгляд с видимым безразличием переходил от распростертого тела на окружающие предметы. Он рассматривал убранство комнаты с холодным полом, выложенным красными плитками, местами выпавшими, и едва прикрытым убогим, вытертым ковром. Старомодная кровать под красное дерево, с пологом из коленкора, желтого с красными розанами, единственное кресло, два стула, также под красное дерево, крытые тем же коленкором, который пошел и на оконные занавеси; серые обои в цветочках, засаленные и потемневшие от времени; рабочий стол красного дерева; камин, заставленный кухонной утварью самого низкого качества, две начатые вязанки дров; на каменном подоконнике, вперемешку со стеклянными бусами и ножницами, небрежно брошенные драгоценные украшения, грязная подушечка для булавок, белые надушенные перчатки, очаровательная шляпка, оброненная на кувшин с водой, на окне шаль от Терно, затемнявшая свет, нарядное платье, повешенное на гвоздь; жесткая, без подушек, кушетка; отвратительные стоптанные деревянные башмаки и изящные ботинки, полусапожки, которым позавидовала бы королева; простые фарфоровые тарелки с отбитыми краями, хранящие остатки еды, под грудой мельхиоровых приборов, этого столового серебра парижской бедноты; корзинка, наполненная картофелем и грязным бельем, а сверху – свежий газовый чепец; дешевый зеркальный шкаф, открытый и пустой, на полках которого можно было заметить ломбардные квитанции, – таково было поражавшее взор содружество всех этих вещей, мрачных и веселых, убогих и великолепных. Не заставила ли задуматься священника эта необычная картина – эти следы роскоши среди черепков, это хозяйство, столь соответствовавшее беспорядочной жизни девушки, которая лежала на полу в растерзанном белье, точно лошадь, павшая во всей своей сбруе под сломанной оглоблей, запутавшись в вожжах? Признал ли он по крайней мере, что эта падшая девушка была бескорыстна, если мирилась с такой нищетой, имея возлюбленным молодого богача? Приписывал ли он беспорядочность обстановки беспорядочности жизни? Испытывал ли он жалость, ужас? Шевельнулось ли в его сердце чувство сострадания? Тот, кто увидел бы его омраченное чело, сжатый рот, скрещенные на груди руки, кто подметил бы его суровый взгляд, тот решил бы, что этот человек обуреваем темными злыми чувствами, противоречивыми побуждениями, зловещими замыслами. Он был несомненно равнодушен к прелестным округлостям груди, почти раздавленной тяжестью поник-

шего тела, к пленительным формам этой *Присевшей Венеры*, которые ясно обрисовывались под черным платьем, ибо умирающая буквально сжалась в клубок; ни беспомощно опущенная головка, открывавшая взору белую шею, нежную и гибкую, ни прекрасные, смело изваянные природой плечи – ничто его не волновало. Он не приподнял Эстер, он, казалось, не слышал душераздирающих вздохов, которые выдавали возвращение к жизни, и только когда девушка разрыдалась и устремила на него отчаявшийся взгляд, он соблаговолил поднять ее с полу и отнести на кровать, причем это было сделано с легкостью, которая обнаруживала в нем недюжинную силу.

– Люсьен! – прошептала она.

– Любовь оживает, стало быть, оживает и женщина, – сказал священник с какой-то горечью.

Жертва парижской развращенности заметила наконец одеяние своего спасителя и, улыбаясь, как дитя, получившее желанную игрушку, сказала ему:

– Теперь я умру, примирившись с небом!

– Вы можете искупить свои грехи, – сказал священник, омочив ее лоб водой и дав понюхать уксусу из флакона, найденного им в углу.

– Я чувствую, что жизнь возвращается ко мне, а не уходит, – сказала она в ответ на заботы священника, сопровождая свои слова жестом, исполненным признательности и неподдельной искренности.

Пленительная пантомима, к которой ради соблазна прибегли бы и сами Грации, вполне оправдывала прозвище странной девушки.

– Вам стало легче? – спросил священнослужитель, давая ей выпить стакан воды с сахаром.

Этот человек, казалось, был знаком со своеобразным укладом жизни гризеток, он все тут знал. Он был тут как у себя дома. Дар быть всюду как у себя дома присущ лишь королям, девкам и ворам.

– Когда вы почувствуете себя вполне хорошо, – продолжал странный священник после короткого молчания, – вы мне откроете причины, которые довели вас до вашего последнего преступления, до попытки самоубийства.

– Моя история очень проста, отец мой, – отвечала она. – Три месяца назад я еще вела распутную жизнь, с которой свыклась с самого рождения. Я была последняя тварь, и самая гнусная; теперь я лишь несчастнейшая из всех несчастных. Позволь мне не рассказывать о моей несчастной матери, убитой...

– Капитаном в непотребном доме, – сказал священник, прерывая кающуюся. – Мне известно ваше происхождение, и я уверен, что если кто-нибудь из представительниц вашего пола может заслужить прощение за свою постыдную жизнь, так это вы, не ведавшая доброго примера.

– Увы! Я не крещена, и никакая религия меня не наставляла.

– Стало быть, все еще поправимо, – продолжал священник, – лишь бы ваша вера, ваше раскаянье были искренни и не таили какой-нибудь мысли.

– Люсьен и Бог в моем сердце, – сказала она с трогательной наивностью.

– Вы лучше бы сказали Бог и Люсьен, – заметил священник, улыбаясь. – Вы напоминаете мне о цели моего посещения. Не скрывайте ничего, что касается этого молодого человека.

– Вы пришли от него? – спросила она с такой любовью, что растрогала бы всякого другого священника. – Ах! Он предчувствовал несчастье.

– Нет, – отвечал он, – причина тревоги не ваша смерть, а ваша жизнь. Ну, расскажите мне о ваших отношениях с Люсьеном.

– Одним словом... – начала она.

Резкий тон священнослужителя повергал бедную девушку в трепет, но все же то была женщина, которую грубость давно уже перестала поражать.

– Люсьен – это Люсьен, – продолжала она. – Прекраснейший из юношей и лучший из всех смертных; но если вы его знаете, моя любовь должна казаться вам вполне естественной. Я встретила его случайно, три месяца назад, в театре Порт-Сен-Мартен, в один из моих свободных дней, – ведь в заведении госпожи Менарди, где я жила, у каждой из нас был свободный день в неделю. На другое утро, как вы отлично понимаете, я тайком убежала оттуда. Любовь овладела моим сердцем, и все во мне так изменилось, что, вернувшись из театра, я себя не узнала; я сама себе внушала ужас. Все это осталось неизвестным Люсьену. Вместо того чтобы рассказать ему всю правду, я дала ему адрес вот этой квартирki, – тогда здесь жила моя приятельница, такая милая, что уступила мне ее. Вот вам мое нерушимое слово...

– Не надо кляtv.

– Разве это клятва, когда дают нерушимое слово? Так вот, с того дня я стала работать как сумасшедшая в этой самой комнате: я шила сорочки по двадцать восемь су за штуку, только бы жить честным трудом. Целый месяц я питалась одним картофелем, я хотела быть благоразумной и достойной Люсьена, ведь он любит меня и уважает, как самую добродетельную девушку. Я написала заявление в полицию, чтобы меня восстановили в правах, и теперь нахожусь под надзором сроком на два года. Люди так легко вносят вас в позорные списки и так становятся несговорчивы, когда приходится вас оттуда вычеркивать. Я просила небо помочь мне выполнить мое решение. Мне минет девятнадцать лет в апреле: это возраст, когда еще не все потеряно. Мне кажется, что я родилась всего лишь три месяца назад... Каждое утро я молилась Богу и просила его устроить так, чтобы никогда Люсьен не узнал о моей прежней жизни. Я купила вот эту Деву, что вы видите; я молилась ей по-своему, ведь я не знаю никаких молитв; я не умею ни читать, ни писать, я никогда не ходила в церковь; мне случалось видеть Господа Бога только во время процессий, да и то я ходила туда из одного любопытства.

– Как же вы обращаетесь к Пресвятой Деве?

– Я говорю с ней, как говорю с Люсьеном, от всей души и так горячо, что у него навертываются слезы.

– А-а! Он плачет?

– От радости, – сказала она с живостью. – Бедняжка! Мы живем душа в душу! Он так мил, так ласков, так нежен и сердцем, и душой, и в обращении!.. Он говорит, что он поэт, а я говорю, что он бог... Простите, но вы, священники, не понимаете, что такое любовь! Впрочем, никто так не знает мужчин, как знаем их мы, и никто не может достаточно оценить Люсьена. Люсьен, видите ли, такая же редкость, как безгрешная женщина; встретившись с ним, нельзя никого любить, кроме него, вот и все. Но для подобного существа нужна подобная же подруга. Я желала стать достойной любви моего Люсьена. Вот в чем мое несчастье. Вчера в Опере меня узнали молодые люди, а сострадания у них не больше, чем жалости у тигров, – с тигром я еще поладила бы! Покрывало невинности, что я носила, пало; их смех пронзил мой мозг и сердце. Не думайте, что вы спасли меня, я умру от горя.

– Покрывало невинности?.. – переспросил священник. – Стало быть, вы держались с Люсьеном крайне строго?

– О мой отец, как вы, зная его, задаете подобный вопрос! – отвечала она с улыбкой превосходства. – Богу не прекословят.

– Не кошунствуйте, – мягким голосом сказал священнослужитель. – Никому не дано быть подобным богу; преувеличение противно истинной любви, вы не любите вашего кумира настоящей чистой любовью. Если бы вас поистине коснулось перерождение, которым вы хвалитесь, вы обрели бы добродетели, что служат достоянием юности, вы познали бы наслаждение целомудрия, прелесть непорочности – два ореола юной девушки! Нет, вы не любите!

Испуганный жест Эстер, замеченный священником, не поколебал бесстрастия этого духовника.

– Да, вы любите его ради себя, а не ради него самого, ради преходящих утех, что вас пленяют, а не ради любви во имя любви; поскольку вы им овладели греховным путем, вы, стало быть, не испытали священного трепета, внушаемого существом, отмеченным божественной печатью, достойным поклонения; подумали ли вы, что вы его позорите вашим порочным прошлым, что вы готовы развратить это дитя чудовищными наслаждениями, созданными вам прозвище, прославленное бесчестьем? Вы поступили опрометчиво в отношении себя самой и в отношении вашей мимолетной страсти...

– Мимолетной! – повторила она, подняв голову.

– Как же иначе назвать любовь, если то любовь преходящая, которая в вечной жизни не соединяет нас во Христе с тем, кого мы любим?

– Ах, я хочу стать католичкой! – вскричала она; и звук ее голоса, глухой и страстный, заслужил бы ей прощение Спасителя.

– Возможно ли, чтобы девушка, не удостоенная церковного крещения и не приобщившаяся науке, не обученная читать, писать, молиться, не ступившая шагу без того, чтобы камни мостовой не вопияли о ее грехах, отмеченная лишь непрочным даром красоты, которую завтра, быть может, похитит болезнь, – возможно ли, чтобы это презренное, падшее создание, ведающее о своей испорченности (будь вы в неведении и не любите вы так пылко, вы скорей заслужили бы прощение), эта будущая жертва самоубийства и преисподней могла стать женой Люсьена де Рюампре?

Каждое слово было ударом кинжала, оно ранило в самое сердце. Рыдания, нараставшие с каждой фразой, обильные слезы отчаявшейся девушки свидетельствовали о том, как ярко озарилось светом ее нетронутое, как у дикаря, сознание, ее пробудившаяся наконец душа, все ее существо, на которое разврат наложил грязный слой льда, тающий под солнцем веры.

– Зачем я не умерла! – вот была единственная высказанная ею мысль среди того водоворота мыслей, что, кружась в ее мозгу, словно опустошали его.

– Дочь моя, – сказал страшный судия, – существует любовь, в которой не открываются перед людьми, но ее признание с ликующей улыбкой принимают ангелы.

– Что же это за любовь?

– Любовь безнадежная, любовь вдохновенная, любовь жертвенная, облагораживающая все наши действия, все наши помыслы. Да, подобной любви покровительствуют ангелы, она ведет к познанию Бога! Совершенствоваться непрестанно, дабы стать достойной того, кого любишь, приносить ему тысячу тайных жертв, обожать издали, отдавать свою кровь капля за каплей, пренебречь самолюбием, не знать ни гордости, ни гнева, таить все, вплоть до жестокой ревности, которую любовь возжигает в вашем сердце, поступаться ради него, пусть в ущерб себе, всем, чего бы он ни пожелал, любить все, что он любит, прилепиться к нему мыслью, чтобы следовать за ним без его ведома, – подобную любовь простила бы религия, ибо она не оскорбляла бы ни законов человеческих, ни законов божеских и вывела бы вас на иной путь, нежели путь вашей мерзостной похоти.

Выслушав этот страшный приговор, выраженный одним словом (и каким словом! и с какой силой оно было сказано!), Эстер почувствовала вполне законное недоверие. Слово было подобно удару грома, предвещавшего надвигающуюся грозу. Она взглянула на священника, и у нее сжалось сердце от страха, который овладевает даже самыми отважными людьми перед лицом нежданной и неотвратимой беды. Никто по выражению его лица не мог бы прочесть, что творилось тогда в этом человеке, но и наиболее смелые скорее ощутили бы трепет, нежели надежду, увидев эти глаза, когда-то блестящие и желтые, как глаза тигра, а теперь от самоистязаний и лишений подернутые пеленою, подобной дымке, что обволакивает небосклон в разгаре лета, – земля тепла и светозарна, но сквозь туман она представляется сумрачной и

мглистой, она почти не видна. Величественность, подлинно испанская, глубокие морщины, казавшиеся еще более безобразными от следов страшной оспы и напоминавшие рытвины на дорогах, избороздили его оливковое лицо, обожженное солнцем. Суровость этого лица еще более подчеркивалась обрамлявшим его гладким париком священника, который не печется более о своей особе, с редкими, искрасна-черными на свету, волосами. Торс атлета, руки старого солдата, широкие, сильные плечи приличествовали бы кариатидам средневековых зодчих, сохранившимся в некоторых итальянских дворцах, – отдаленное сходство с ними можно найти в кариатидах на здании театра Порт-Сен-Мартен. Люди наименее прозорливые решили бы, что пламенные страсти или необычайные злоключения бросили этого человека в лоно церкви; несомненно, лишь неслыханные удары судьбы могли его изменить, если только подобная натура была способна измениться. Женщины, ведущие образ жизни, столь решительно отвергнутый Эстер, доходят до полного безразличия к внешности человека. Они напоминают современного литературного критика, который в известном отношении может быть с ними сопоставлен, ибо он также доходит до полного безразличия к канонам искусства; он прочел столько произведений, столько их прошло через его руки, он так привык к исписанным страницам, он пережил столько развязок, он видел столько драм, написал столько статей, не высказав того, что думал, он так часто предавал интересы искусства в угоду дружбе и недружелюбию, что чувствует отвращение ко всему и тем не менее продолжает судить. Только чудом подобный писатель может создать достойное произведение, только чудом чистая и возвышенная любовь может расцвести в сердце куртизанки. Тон и манеры священника, казалось сошедшего с полотна Сурбарана, представились столь враждебными бедной девушке, для которой внешность не имела значения, что она почувствовала себя не предметом заботы, а скорее необходимым участником какого-то замысла. Не умея отличить притворную ласковость из расчета от истинного милосердия, ибо надо быть настороже, чтобы распознать фальшивую монету, данную другом, она почувствовала себя в когтях хищной, страшной птицы, долго кружившей над ней, прежде чем на нее наброситься, и в ужасе, встревоженным голосом, сказала:

– Я думала, что священники должны нас утешать, а вы меня убиваете!

При этом простодушном возгласе священник сделал невольное движение и умолк; он собирался с мыслями, прежде чем ответить. В продолжение минуты два существа, столь странно соединенные судьбою, украдкой изучали друг друга. Священник понял девушку, меж тем как девушка не могла понять священника. Он, видимо, отказался от какого-то намерения, угрожавшего бедной Эстер, и остался при первоначальном решении.

– Мы врачеватели душ, – сказал он мягким голосом, – и мы знаем, какие нужны средства от их болезней.

– Надобно многое прощать несчастным, – сказала Эстер.

Она усомнилась в правоте своих подозрений, соскользнула с постели, распростерлась у ног этого человека, поцеловала с глубоким смирением его сутану и подняла к нему глаза, полные слез.

– Я думала, что достигла многого, – сказала она.

– Послушайте, дитя мое! Ваша пагубная слава повергла в печаль близких Люсьена: они опасаются, и не без некоторых оснований, как бы вы не вовлекли его в рассеянную жизнь, в бездну безрассудств.

– Правда, это я увлекла Люсьена с собою на бал, чтобы немножко поинтриговать его.

– Вы достаточно хороши, чтобы он пожелал торжествовать свою победу перед лицом света и с гордостью выставлять вас напоказ, как парадный выезд! Если бы он тратил только деньги! Но он тратит время, силы; он утратит вкус к прекрасным возможностям, которые ему желают создать. Вместо того чтобы со временем стать посланником, богачом, предметом восхищения, знаменитостью, он окажется, подобно стольким распутникам, утопившим свои дарования в мерзости парижского разврата, возлюбленным падшей женщины. Что касается вас, то,

поднявшись временно в высшие сферы, вы рано или поздно обратитесь к прежней жизни, ибо в вас нет той стойкости, которая дается хорошим воспитанием и помогает противостоять пороку в интересах будущего. Вы так же не порвали бы с вашими товарками, как не порвали с людьми, опозорившими вас этой ночью в Опере. Истинные друзья Люсьена, встревоженные любовью, которую вы ему внушили, последовали за ним и все выведали. Придя в ужас, они направили меня к вам, чтобы узнать ваши намерения и затем решить вашу участь; но, если они достаточно сильны, чтобы убрать препятствие с пути молодого человека, они и милосердны. Знайте, дочь моя: женщина, любимая Люсьеном, вправе рассчитывать на их уважение, – так истинному христианину дорога и грязь, если на нее случайно упадет божественный луч. Я пришел, чтобы исполнить свой долг посредника в благом деле; но ежели бы вы оказались совершенно испорченной, искушенной в коварстве, бесстыдной, развращенной до мозга костей, глухой к голосу раскаяния, я бы не защищал вас от их гнева. Я слышал, как вы, со всем пылом искреннего раскаяния, желали получить восстановление в правах гражданских и политических – это дело трудное, и полиция права, чиня к тому препятствия в интересах самого же общества; но вот оно, это разрешение, – сказал священник, вынимая из-за пояса бумагу казенного образца. – Вас видели вчера, документ помечен нынешним днем; судите сами, как могущественны люди, принимающие участие в Люсьене.

При виде этой бумаги судорожная дрожь, спутница нечаянного счастья, овладела простодушной Эстер, и на ее устах застыла улыбка, напоминавшая улыбку безумной. Священник умолк и взглянул на нее, желая убедиться, вынесет ли столько впечатлений юное создание, лишенное той страшной силы, которую люди порочные черпают в самой порочности, и вновь обретшее свою природную хрупкость и нежность. Куртизанка, лгунья разыграла бы комедию; но, обратившись к былой чистоте и искренности, Эстер могла бы умереть, – так прозревший после операции слепец может вновь потерять зрение от чересчур яркого света. Перед этим человеком открылись в ту минуту глубины человеческой натуры, но он пребывал в устрашающем, непоколебимом спокойствии: то был холод снежных Альп, соприкасающихся с небом, бесстрастных и угрюмых, с гранитными склонами, и все же благостных. Эти девушки – существа в высшей степени непостоянные, они переходят беспричинно от самой тупой недоверчивости к неограниченному доверию. В этом отношении они ниже животного. Неистовые во всем, в радости, в печали, в вере и в неверии, почти все они были бы обречены на безумие, если бы не высокая смертность, которая опустошала их ряды, и если бы не счастливые случайности, возносившие иных над той грязью, в которой они живут. Достаточно было видеть исступленный восторг Торпиль, упавшей к ногам священника, чтобы измерить всю глубину убожества этой жизни и понять, до какого безумия можно дойти, не потеряв при этом рассудка. Бедная девушка смотрела на спасительный лист бумаги с выражением, которое забыл увековечить Данте и которое превосходило все измышления его Ада. Но вместе со слезами пришло успокоение. Эстер поднялась, охватила руками шею этого человека, склонила голову на его грудь и, рыдая, поцеловала грубую ткань, прикрывавшую стальное сердце, как бы желая в него проникнуть. Она обняла этого человека, покрыла поцелуями его руки; в благоговейном порыве благодарности она пустила в ход весь арсенал своих вкрадчивых ласк, она осыпала его самыми трогательными именами, прерывая тысячу и тысячу раз свой нежный лепет словами: «Отдайте мне ее!» – произносимыми с самой различной интонацией; она опутала его своими молящими взорами с такой быстротой, что завладела им без сопротивления. Священник понял, что эта девушка заслужила свое прозвище; он испытал, как трудно устоять перед этим очаровательным созданием, он вдруг разгадал любовь Люсьена и то, что должно было в ней пленить поэта. Подобная страсть таит, между тысячью приманок, острый крючок, пронзающий глубже всего возвышенную душу художника. Подобные страсти, необъяснимые для толпы, превосходно объяснимы жаждой прекрасного идеала, отличающей того, кто творит. Очистить от скверны подобное существо – не значит ли уподобиться ангелам, которым

поручено обращать в веру отступников? Не значит ли это творить? Как приманчиво привести в согласие красоту нравственную с красотой физической! Какое гордое удовлетворение испытывает человек, когда ему это удастся! Как прекрасен труд, единственное орудие которого любовь! Такое сочетание, впрочем, прославленное примером Аристотеля, Сократа, Платона, Алкивиада, Цетегуса, Помпея и столь чудовищное в глазах обывателя, порождается чувством, которое вдохновило Людовика XIV построить Версаль, которое бросает людей во всякие разорительные предприятия; оно заставляет их превращать миазмы болот в ароматы парков, омытых проточными водами, поднимать озеро на вершину холма, как то сделал принц де Конти в Нуантеле, либо созидать швейцарские пейзажи в Кассане, подобно откупщику Бержере. Словом, это Искусство, вторгающееся в область Нравственности.

Священник, устыдившийся того, что поддался ее чарам, резко оттолкнул Эстер; она села, тоже устыдившись, ибо, хладнокровно положив бумагу за пояс, он сказал: «Вы все та же куртизанка!» Эстер, как ребенок, у которого на уме одно желание, не отрываясь смотрела на пояс, хранивший вожделенный документ.

– Дитя мое, – продолжал священник, помолчав, – ваша мать была еврейкой, вы не крещены, но вас не водили и в синагогу; вы находитесь в преддверии церкви, как и младенцы...

– Младенцы! – повторила она с умилением.

– Так же как в списках полиции вы лишь номер, вне общественного бытия, – бесстрастно продолжал священник. – Если любовь, случайно вас коснувшаяся, заставила вас три месяца назад поверить, что вы заново родились, то вы с того дня должны и вправду чувствовать себя младенцем. Стало быть, вы нуждаетесь в опеке, как если бы были ребенком, вы должны совершенно перемениться, и я ручаюсь, что сделаю вас неузнаваемой. Прежде всего забудьте Люсьена.

Слова эти разбили сердце бедной девушки: она подняла глаза на священника и сделала движение, означавшее отказ; она лишилась дара слова, вновь обнаружив палача в спасителе.

– По крайней мере откажитесь от встречи с ним, – продолжал он. – Я помещу вас в монастырский пансион, где юные девушки лучших семейств получают воспитание; там вы станете католичкой, там вас наставят на путь христианского долга, просветят в духе религии. Вы выйдете отсюда превосходной молодой девицей, целомудренной, безупречной, хорошо воспитанной, если...

Он поднял палец и помолчал.

– Если, – продолжал он, – вы чувствуете в себе силы расстаться здесь с Торпиль.

– Ах! – воскликнула бедная девушка, ибо каждое слово было для нее подобно музыкальной ноте, под звуки которой медленно приоткрывались врата рая. – Ах! Если бы я могла пролить здесь всю мою кровь и влить в себя новую!..

– Выслушайте меня.

Она замолчала.

– Ваша будущность зависит от того, насколько глубоко вам удастся забыть прошлое. Подумайте о серьезности ваших обязательств: одно слово, одно движение, изобличающее Торпиль, убивает жену Люсьена; возглас, вырвавшийся во сне, невольная мысль, нескромный взгляд, нетерпеливый жест, воспоминание о распутстве, любой промах, какой-нибудь кивок головой, выдающий то, что вы знаете, или то, что познали, к вашему несчастью...

– Продолжайте, продолжайте, отец мой! – воскликнула девушка с исступлением подвижницы. – Ходить в раскаленных докрасна железных башмаках и улыбаться, носить корсет, подбитый шипами, и хранить грацию танцовщицы, есть хлеб, посыпанный пеплом, пить польнь, – все будет сладостно, легко!

Она опять упала на колени, она целовала обувь священника и обливала ее слезами, она обнимала его ноги и прижималась к ним, лепеча бессмысленные слова сквозь рыдания, исторгнутые радостью. Белокурые волосы поразительной красоты рассыпались ковром у ног этого

посланника небес, который представился ей помрачневшим и еще более суровым, когда, поднявшись, она взглянула на него.

– Чем я вас оскорбила? – спросила она в испуге. – Я слышала, как рассказывали о женщине, подобной мне, умастившей благовониями ноги Иисуса Христа! Увы! Добродетель обратила меня в нищую, и, кроме слез, мне нечего вам предложить.

– Разве вы не слышали моих слов? – сказал он жестко. – Я говорю вам: надо так измениться физически и нравственно, чтобы никто из тех, кто вас знал, встретившись с вами, по вашему выходе из того пансиона, куда я вас помещу, не осмелился бы окликнуть вас: «Эстер!» – и тем принудить вас обернуться. Вчера ваша любовь не помогла вам настолько глубоко схоронить в себе непотребную женщину, чтобы она не выдала себя, и вот она снова выдает себя в этом поклонении, подобающем лишь Богу.

– Не он ли послал вас ко мне? – сказала она.

– Если Люсьен вас увидит прежде, чем окончится ваше воспитание, все потеряно, – заметил он, – подумайте об этом хорошенько.

– Кто его утешит? – сказала она.

– В чем вы его утешали? – спросил священник, голос которого впервые в продолжение этой сцены дрогнул.

– Не знаю, он часто приходил огорченный.

– Огорченный? – промолвил священник. – Чем? Он вам когда-нибудь об этом говорил?

– Никогда, – отвечала она.

– Он был огорчен тем, что любил такую шлюху, как вы! – вскричал он.

– Это, верно, так и было, – продолжала она с глубоким смирением. – Увы! Я самая презренная из женщин, и моим оправданием в его глазах была лишь моя беззаветная любовь к нему.

– Эта любовь должна дать вам мужество слепо мне повиноваться. Если бы я сегодня же поместил вас в пансион, где вас будут обучать, каждый скажет Люсьену, что нынче, в воскресенье, вас увез какой-то священник, и он мог бы напасть на след. Через неделю, если я не буду сюда являться, привратница не узнает меня. Итак, ровно через неделю, тоже вечером, в семь часов, вы украдкой выходите из дому и садитесь в фиакр, который будет вас ожидать в конце улицы Фрондер. Всю эту неделю избегайте встречи с Люсьеном; пользуйтесь любым предложением и не принимайте его, а если он все же придет, подымитесь к приятельнице; я узнаю, если вы с ним встретитесь, и тогда все кончено, вы меня больше не увидите. За эту неделю вам необходимо сделать приличное приданое и отрешиться от навыков проститутки, – прибавил он, положив кошелек на камин. – В вашем облике, в вашей одежде есть нечто столь знакомое парижанам, что всякий скажет, кто вы такая. Не случалось ли вам встречать на улицах, на бульварах скромную и добродетельную молодую девушку, идущую рядом со своей матерью?

– О да! К моему несчастью. Для нас видеть мать с дочерью самая тяжкая пытка; пробуждаются угрызения совести, укрытые в тайниках сердца, они пожирают нас!.. Я слишком хорошо знаю, что мне недостает.

– Стало быть, вы знаете, что от вас потребуется в будущее воскресенье? – сказал священник, вставая.

– О! – воскликнула она. – Научите меня, прежде чем уйти, настоящей молитве, чтобы я могла молиться Богу.

Трогательно было видеть священника и эту девушку, повторяющую за ним по-французски Ave Maria и Pater noster.

– Как это прекрасно! – сказала Эстер, сразу же без ошибки повторившая эти великолепные и общеизвестные выражения католической веры.

– Как ваше имя? – спросила она священника, когда тот прощался.

– Карлос Эррера, я испанец, изгнанник из моей страны.

Эстер взяла его руку и поцеловала. То была уже не куртизанка, то был падший и расквашенный ангел.

В начале марта месяца этого года пансионерки заведения, знаменитого аристократическим и религиозным воспитанием, заметили в понедельник утром, что их общество обогатилось новопривывшей, которая красотой бесспорно затмевала не только всех подруг, но и те отдельные совершенства, которые можно было найти в каждой из них. Во Франции чрезвычайно трудно, чтобы не сказать невозможно, встретить все тридцать совершенств, необходимых для законченной женской красоты и прославленных персидскими стихами, которые высечены, как говорят, на стенах сераля. Во Франции безупречная красота встречается редко, зато как восхитительны отдельные черты! Что касается величавого единства этих черт, которое скульптура пытается передать и передала в немногих избранных изваяниях, как Диана и Калипига, – это достояние Греции и Малой Азии. Эстер вышла из колыбели рода человеческого, родины красоты: ее мать была еврейка. Хотя евреи от смешения с другими народами теряют свои типические черты, все же среди их многочисленных племен можно встретить в своем роде самородки, сберегшие высокий первообраз азиатской красоты. Если они не отталкивающе безобразны, они являют великолепные особенности армянских лиц. Эстер завоевала бы первенство в серале: она обладала всеми тридцатью совершенствами, гармонично слитыми воедино. Ее своеобразная жизнь, не нарушая законченности форм, свежести оболочки, сообщила ей какую-то особую женственность; то была не гладкая, упругая кожа незрелых плодов и не теплые тона зрелости, то было цветение. Продолжай она свою распутную жизнь, ей угрожала бы дородность. Избыток здоровья, совершенное развитие физических качеств существа, в котором чувственность заменяет разум, несомненно должен представлять значительный интерес в глазах физиологов. По редкой, чтобы не сказать небывалой для столь юной девушки, случайности руки ее, несравненного благородства, были мягки, прозрачны и белы, как руки женщины после вторых родов. У нее были такие же ноги и волосы, как у герцогини Беррийской, столь ими славившейся, – волосы, непокорные руке парикмахера, такие густые и такие длинные, что, падая на землю, они ложились кольцами, ибо Эстер была среднего роста, позволяющего обращать женщину как бы в игрушку, поднимать ее, класть, опять брать и носить на руках, не чувствуя усталости. Кожа, тонкая, как китайская бумага, и теплого цвета амбры, оживленная голубыми жилками, была атласная, но не сухая, нежная, но не влажная. Эстер, до крайности впечатлительная, но внешне сдержанная, сразу привлекала внимание одной особенностью, запечатленной мастерской кистью Рафаэля в его творениях, ибо Рафаэль был художником, наиболее изучившим и лучше других передавшим еврейскую красоту. Эта дивная особенность лица создавалась четкостью рисунка надбровной дуги, напоминавшей арку, под сводом которой жили глаза, как бы независимые от своей оправы. Когда молодость расцветивает чистыми и прозрачными красками эту великолепную арку, увенчанную крылатыми бровями, когда солнечный луч, скользя под ее окружие, ложится там розовой тенью, тогда это – источник сокровищ нежности, утоляющей любовника, источник красоты, доводящей до отчаянья живописца. В высшем напряжении создает природа и эти светонесущие излучины, где приютилась золотистая тень, и эту ткань, плотную, как нерв, и чувствительную, как сама нежная мембрана. Глаз покоится, подобно волшебному яйцу, в гнезде из шелковых травинки. Но со временем, когда страсти опалят эти столь утонченные черты, когда горести избородят морщинами нежную ткань, тогда это чудо преисполнится мрачной печали. Происхождение Эстер сказывалось в восточном разрезе глаз с тяжелыми веками; при ярком освещении серый, аспидный цвет этих глаз переходил в синеву воронова крыла. Только поразительная нежность ее взгляда смягчала их блеск. Лишь детям пустынь дано чаровать всех своим взглядом, ибо женщина всегда кого-нибудь чарует. Глаза их несомненно хранят в себе что-то от бесконечности, которую они созерцали. Не снабдила ли предусмотрительная природа их сетчатую оболочку каким-то отражающим покровом, чтобы они могли выдержать миражи песков, потоки солнечных лучей и пла-

менную лазурь эфира? Или они, подобно другим существам человеческим, заимствуют нечто от той среды, в которой развиваются, и приобретенные там свойства пронесут сквозь века! Вопрос сам по себе, может быть, заключает в себе великое разрешение расовой проблемы; инстинкты – это живая реальность, в основе их лежит подчинение необходимости. Животные разновидности суть следствие упражнения этих инстинктов. Чтобы убедиться в истине, которой доискиваются с давних пор, достаточно применить к людскому стаду опыт наблюдения над стадами испанских и английских овец; в равнинах, на лугах, изобилующих травами, они пасутся, прижавшись одна к другой, и разбегаются в горах, где скудная растительность. Оторвите этих овец от их родины, перенесите их в Швейцарию или Францию: горная овца и на сочных лугах равнин будет пастись в одиночку; овцы равнин будут пастись, прижавшись одна к другой, даже в Альпах. Многие поколения с трудом преобразуют приобретенные и унаследованные инстинкты. Спустя сто лет горный дух вновь пробуждается в строптивом ягненке, как через восемнадцать столетий после изгнания Восток заблестал в глазах и облике Эстер. Взгляд ее отнюдь не таил опасного очарования, он излучал нежное тепло, он умилял, а не поражал, и самая твердая воля растворялась в его пламени. Эстер победила ненависть, изумив парижских распутников; но глаза и нежность ее сладостной кожи создали ей ужасное прозвище, которое едва не свело ее в могилу. Все в ней было в гармонии с ее обликом пери знойных пустынь. У нее был высокий лоб благородной формы. Нос был изящный, тонкий, как у арабов, с овальными, чуть приподнятыми, четко очерченными ноздрями. Рот – алый и свежий, как роза, не тронутая увяданием, – оргии не оставили на нем никакого следа. Подбородок, словно изваянный влюбленным скульптором, блистал молочной белизною. Одно лишь, чему она не могла помочь, выдавало опустившуюся куртизанку: испорченные ногти, – ибо требовалось много времени, чтобы вернуть им изысканную форму, настолько они были обезображены самой грубой домашней работой. Юные пансионеры сначала завидовали этому чуду красоты, затем пленились им. Не минуло и недели, как они привязались к наивной Эстер, проявив участие к тайным горестям восемнадцатилетней девушки, не умевшей ни читать, ни писать, для которой любая наука, любое учение были внове и которой предстояло составить гордость архиепископа, обратившего еврейку в католическую веру, а монастырю дать повод для торжества ее крещения. Они простили ей ее красоту, сочтя себя выше ее по воспитанию. Эстер вскоре усвоила манеру обращения, мягкость интонаций, осанку и движения этих благовоспитанных девиц, словом, она обрела свою истинную природу. Преображение было столь полное, что при первом же посещении монастыря Эррера изумился, хотя его ничто в мире, казалось, не должно было изумлять, и воспитательницы поздравили его с такой воспитанницей.

Никогда еще на своем учительском поприще эти женщины не встречали такой милой естественности, такого христианского смирения, такой неподдельной скромности, такого горячего желания учиться. Если девушка перенесла страдания, равные страданиям бедной пансионеры, и ожидает награды, подобной той, что испанец предлагал Эстер, трудно представить, чтобы она не совершила чудес, достойных первых времен существования церкви и повторенных иезуитами в Парагвае.

– Вот назидательный пример, – сказала настоятельница, целуя ее в лоб.

Этим словом, в высшей степени католическим, было все сказано.

Во время перемен Эстер осторожно расспрашивала подруг о самых простых светских вещах, столь же для нее новых, как первые впечатления для ребенка. Когда она узнала, что в день своего крещения и первого причастия она будет одета во все белое, что у нее будет повязка из белого атласа, белые ленты, белые башмаки, белые перчатки, что у нее будут белые банты в волосах, она залилась слезами в кругу удивленных подруг. То было полной противоположностью сцене с Иевфаем на горе Хорив. Куртизанка страшилась разоблачения, и эта странная тоска, полная ужаса, омрачала радость предвкушения таинства. Между нравами, от которых она отказалась, и нравами, к которым она приобщилась, расстояние было, конечно,

не меньшее, нежели между первобытной дикостью и цивилизацией, и своей грацией, наивностью и глубиной она напоминала прелестную героиню американских пуритан. Кроме того, она, сама того не ведая, таила в сердце любовь, подтачивавшую ее силы, любовь женщины, все познавшей, обураваемой желанием более властным, нежели желание девственницы, ничего не изведавшей, хотя чувства и той и другой имеют один и тот же источник и ведут к одному и тому же концу. В первые месяцы новизна затворнической жизни, удовольствие, доставляемое учением, занятия рукоделием, религиозные обряды, усердное выполнение обета, нежная привязанность подруг, наконец, упражнение способностей пробудившегося ума, – все, даже старания совладать со своей памятью, помогло ей подавить воспоминания, ибо ей нужно было от многого отучиться и многому обучиться заново. Существует несколько видов памяти: у тела своя память, у сердца – своя, и тоска по родине, например, есть болезнь памяти физической. В исходе третьего месяца неистовая сила этой девственной души, на распахнутых крыльях стремящейся в рай, была не то чтобы укрощена, но как бы заторможена тайным чувством сопротивления, причины которому не знала и сама Эстер. Подобно шотландским овцам, она желала пастись в одиночестве, она не могла победить инстинкты, разнузданные развратом. Не грязные ли улицы Парижа, от которых она отреклась, призывали ее к себе? Не разомкнутые ли цепи страшных навыков волочились за нею, держась на позабытых креплениях, и мучили ее, как, по словам врачей, мучают старых солдат раны давно ампутированных конечностей? Не пороки ли, с их излишествами, так пропитали ее до самого мозга костей, что никакая святая вода не могла изгнать притаившегося в ней дьявола? Быть может, та, кому Господь Бог мог простить слияние любви человеческой и любви божественной, должна была встретиться с тем, ради кого совершались эти ангельские усилия? Ведь одна любовь привела ее к другой. Быть может, в ней совершалось перемещение жизненной энергии, порождающее неизбежные страдания? Все недостоверно и полно мрака в той области, которую наука не пожелала изучить, сочтя подобную тему чересчур безнравственной и чересчур предосудительной, как будто врач, писатель, священник и политик не выше подозрений! Однако ж врач, столкнувшись со смертью, обрел ведь мужество и начал исследования, оставшиеся еще не законченными. Возможно, мрачное состояние духа, угнетавшее Эстер и нарушавшее ее счастливую жизнь, проистекало от всех этих причин, и она страдала, ничего не ведая о них, как страдают больные, не искушенные в медицине и хирургии. Примечательный случай! Обильная и здоровая пища, сменившая пищу скудную и возбуждающую, не насыщала Эстер. Целомудренная и размеренная жизнь, чередование неутомительной работы и часов досуга, вместо рассеянной жизни, полной удовольствий, столь же пагубных, как и огорчения, сокрушала юную пансионерку. Отдых самый живительный, спокойные ночи, пришедшие на смену жесточайшей усталости и страшному возбуждению, породили лихорадку, признаки которой ускользали от внимания монахини, врачующей пансионеров. Короче сказать, благополучие и счастье, заступившие место горестей и невзгод, спокойствие взамен вечной тревоги были столь же пагубны для Эстер, как ее бывшие злоключения были бы пагубны для ее юных подруг. Зачатая в распутстве, она в нем и выросла. Ее адская родина все еще держала девушку в своей власти вопреки верховным приказаниям ее несокрушимой воли. То, что она ненавидела, было для нее жизнью, то, что она любила, ее убивало. В ней жила вера столь пламенная, что ее благочестие радовало душу. Она полюбила молиться. Она открыла сердце свету истинной религии, она воспринимала ее без всякого усилия над собой, без всяких колебаний. Священник, наставлявший ее, был от нее в восхищении, но ее тело постоянно восставало против души. Из илистого пруда выловили карпов и пустили в мраморный бассейн с чистой, прозрачной водой ради прихоти г-жи де Ментенон, кормившей их крошками с королевского стола. Карпы зачали. Животным свойственна преданность, но никогда человек не передаст им проказу лести. Один придворный указал на этот немой протест в Версале: «Они, как я, – заметила эта некоронованная королева, – тоскуют по родному болоту». В этих словах вся история Эстер. Порою бедная девушка убегала в великоле-

ный монастырский парк и там металась от дерева к дереву, в отчаянии устремляясь в темную чашу в поисках – чего? Она сама того не знала, но она поддавалась дьявольскому соблазну, она кокетничала с деревьями; она расточала им слова, которые давно уже не произносила вслух. Вечерами она не раз скользила, подобно ужу, вдоль бесконечной монастырской ограды, без шали, с обнаженными плечами. Нередко в капелле она стояла всю мессу, вперив взгляд в распятие, и все восхищались ею: из глаз ее лились слезы, но плакала она от бешенства; она желала бы созерцать священные лики, а ей грезились пламенные ночи, когда она управляла пиршеством, как Габенек управляет в Консерватории симфонией Бетховена, – ночи озорные и сладострастные, с разнузданными движениями и безудержным смехом, неистовые, сумасшедшие, скотские. Внешне она была девственницей, прикованной к земле лишь своим женским обликом, внутри же бесновалась своевластная Мессалина. Никто, кроме нее самой, не был посвящен в тайну этой борьбы сатаны с ангелом; случалось, настоятельница журила ее за чересчур кокетливое по монастырскому уставу убранство головы, и она с очаровательной поспешностью готова была бы срезать и волосы, если бы наставница того пожелала. Тоска по родине у этой девушки, предпочитавшей погибнуть, нежели воротиться в свою грешную отчизну, была полна трогательной прелести. Она побледнела, осунулась, исхудала. Настоятельница сократила часы обучения и вызвала к себе эту удивительную девушку, желая ее расспросить. Эстер была счастлива, ей нравилось проводить время в кругу подруг; в ней нельзя было заметить ни малейшего ослабления деятельности каких-либо жизненно важных центров, но ее жизнеспособность была существенно ослаблена. Она ни о чем не сожалела, она ничего не желала. Настоятельница была удивлена ответами пансионерки, она видела, что девушка чахнет, и, не находя причины, терялась в догадках. Был призван врач, как только состояние юной воспитанницы показалось серьезным, но врач этот не знал о прежней жизни Эстер и не мог о ней подозревать; он нашел ее вполне здоровой, так как не обнаружил никакой болезни. Девушка давала ответы, опровергавшие все его предположения. Оставался один способ разрешить сомнения ученого, встревоженного страшной мыслью: Эстер упорно отказывалась подвергнуться осмотру врача. Настоятельница ввиду трудности положения вызвала аббата Эррера. Испанец явился, понял отчаянное положение Эстер и наедине коротко побеседовал с врачом. После этой дружеской беседы ученый объявил духовнику, что единственным средством спасения было бы путешествие в Италию. Аббат не пожелал на это согласиться, прежде чем Эстер не будет крещена и не примет первое причастие.

– Сколько понадобится еще времени? – спросил врач.

– Месяц, – отвечала настоятельница.

– Она умрет, – возразил врач.

– Да, но осененная благостью и спасающая душу, – сказал аббат.

Вопрос религии господствует в Испании над вопросами политическими, гражданскими и житейскими; врач ничего не ответил испанцу и обернулся к настоятельнице, но страшный аббат взял его за руку.

– Ни слова, сударь! – сказал он.

Врач, несмотря на то что он был человек религиозный и монархист, окинул Эстер взглядом, полным сердечного участия. Девушка была хороша, как поникшая на стебле лилия.

– Да будет над ней милость Божья! – воскликнул он, уходя.

В тот же день после совещания покровитель Эстер повез ее в «Роше-де-Канкаль», ибо желание спасти девушку внушало священнику самые необычайные поступки; он испробовал две формы изысканности: изысканный обед, способный напомнить бедной девушке ее кутежи, и Оперу, представившую ей несколько картин из светской жизни. Потребовалось все его подавляющее влияние, чтобы юная праведница решилась на подобное кощунство. Эррера так отлично перерядился в военного, что Эстер с трудом его узнала; он позаботился набросить на свою спутницу вуаль и усадил ее в глубь ложи, чтобы она была укрыта от нескромных

взглядов. Это средство, безвредное для добродетели, столь прочно завоеванной, вскоре утратило свое действие. Воспитанница испытывала отвращение к обедам покровителя, религиозный ужас перед театром и опять впала в задумчивость. «Она умирает от любви к Люсьену», – сказал себе Эррера, желавший проникнуть в недра этой души и выведать, что еще можно от нее потребовать. И вот настал момент, когда бедная девушка могла опереться лишь на свои нравственные силы, ибо тело готово было уступить. Священник рассчитал наступление этой минуты с ужасающей прозорливостью опытного человека, родственной прежнему искусству палачей пытать свою жертву. Он застал свою питомицу в саду, на скамье, возле беседки, под ласковым апрельским солнцем; казалось, ей было холодно, и она тут отогревалась; от наблюдательных подруг не укрылась ее бледность увядающего растения, глаза умирающей газели, вся ее задумчивая поза. Эстер поднялась навстречу испанцу, и ее движения говорили, как мало было в ней жизни и, скажем прямо, как мало желания жить. Бедная дочь богемы, вольная раненая ласточка, она еще раз пробудила жалость в Карлосе Эррера. Мрачный посланец, который, видимо, творил волю Господа Бога, являясь лишь его карающей десницей, встретил больную улыбкой, в которой крылось столько же горечи, сколько и нежности, столько же мстительности, сколько и милосердия. Эстер, приученная за время своей почти монашеской жизни к созерцанию и самоуглублению, вновь испытала чувство недоверия при виде своего покровителя; но, как и в первый раз, она была тотчас же успокоена его речами:

– Ну что ж, милое дитя мое, отчего вы ни словом не обмолвитесь о Люсьене?

– Я вам обещала, – отвечала она, вздрогнув всем телом, – я вам поклялась не произносить этого имени.

– Однако ж вы постоянно о нем думаете.

– В этом моя единственная вина, сударь. Я всегда думаю о нем, и когда вы вошли, я втайне твердила его имя.

– Вас убивает разлука?

В ответ Эстер поникла головой, как больная, которая уже чувствует дыхание могилы.

– Встретиться... – начал он.

– Значит жить, – отвечала она.

– Вы стремитесь к нему только душой?

– Ах, сударь, любовь едина, ее не разъединить.

– Дочь проклятого племени! Я все сделал, чтобы тебя спасти, а теперь возвращаю тебя твоей судьбе: ты его увидишь.

– Отчего вы клянете мое счастье? Разве я не могу любить Люсьена и жить в добродетели, которую я люблю так же сильно, как и его? Разве я не готова умереть здесь ради нее, как я была готова умереть ради него? Разве я не угасаю из-за этой двойной одержимости, из-за добродетели, сделавшей меня достойной его, и из-за него, отдавшего меня в руки добродетели? Скажите, разве я не угасаю, готовая умереть, не встретившись с ним, но готовая жить после встречи с ним? Бог мне судья.

Вновь ожили ее краски, бледность приняла золотистый оттенок. Эстер еще раз обрела былое очарование.

– Вы встретитесь с Люсьеном на следующий же день после того, как вас омоют воды крещения. И если вы, посвятив ему жизнь, сочтете себя способной жить добродетельно, вы больше с ним не расстанетесь.

Священник вынужден был поднять Эстер, у нее подогнулись колени. Бедная девушка упала, словно земля ушла у нее из-под ног, аббат усадил ее на скамью, и, когда к ней вернулся дар речи, она вымолвила:

– Отчего же не нынче?

– Не желаете ли вы лишить монсеньора торжества по поводу вашего крещения и обращения в веру? Вы слишком близки к Люсьену, чтобы быть близкой к Богу!

– Да, я ни о чем более не думала!

– Вы не созданы для религии, – сказал священник с выражением глубокой иронии.

– Бог милостив, – возразила она, – он читает в моем сердце.

Эррера, побежденный пленительной наивностью голоса, взгляда, движений и поведения Эстер, впервые поцеловал ее в лоб.

– Распутники дали тебе меткое прозвище: ты соблазнила бы даже Бога-отца. Еще несколько дней – так надо! – и вы оба свободны.

– Оба свободны! – повторила она восторженно.

Эта сцена, наблюдавшаяся издали, удивила воспитанниц и воспитательниц, решивших по изменившемуся виду Эстер, что они присутствовали при каком-то волшебстве. Преображенное создание было полно жизни. Эстер вновь предстала в своей истинной любовной сущности, милая, кокетливая, волнующая, жизнерадостная; наконец она воскресла!

Эррера жил на улице Кассет, близ церкви Сен-Сюльпис, к приходу которой он принадлежал. Церковь строгого и сухого стиля подходила испанцу, его религия была сродни уставу ордена доминиканцев. Добровольная жертва коварной политики Фердинанда VII, он вредил делу конституции, твердо зная, что его преданность двору может быть вознаграждена только лишь при восстановлении *Rey netto*⁶. И Карлос Эррера телом и душой предался *samarilla*⁷ в момент, когда о свержении кортесов не было и речи. В глазах света подобное поведение было признаком возвышенной души. Поход герцога Ангулемского состоялся, и король Фердинанд сидел на престоле, а Карлос Эррера не спешил в Мадрид предъявить счет за свои услуги. Защищенный от любопытства умением молчать, обязательным для дипломата, он объяснял свое пребывание в Париже горячей привязанностью к Люсьену де Рюампре, и молодой человек уже был обязан ему указом короля о перемене своего имени. Впрочем, Эррера вел замкнутый, традиционный образ жизни священников, облеченных особыми полномочиями. Он посещал службы в церкви Сен-Сюльпис, отлучался из дома лишь по необходимости, всегда вечером и в карсте. День заполнялся испанской сиестой – отдыхом между завтраком и обедом, именно в то время, когда Париж шумен и поглощен делами. Курение также играло свою роль в распорядке дня, поглощая столько же времени, сколько и испанского табаку. Праздность столь же хорошая маска, как и важность, которая сродни праздности. Эррера жил во втором этаже одного крыла дома, Люсьен занимал другое крыло. Оба помещения были обособлены и вместе с тем связаны обширными приемными покоем, старинная пышность которых равно приличествовала и степенному служителю культа, и юному поэту. Двор этого дома был мрачен. Вековые разросшиеся деревья наполняли тенью весь сад. Тишина и скромность присущи жилищам, облюбованным духовными особами. Помещение Эррера можно описать в трех словах: то была келья. Комнаты Люсьена, блистающие роскошью и изысканным комфортом, соединяли в себе все, чего требует праздная жизнь денди, поэта, писателя, честолюбца, распутника, человека высокомерного и вместе тщеславного, беспорядочного, но жаждущего порядка, – одного из тех неполноценных талантов, которые одарены известной способностью желать и задумывать, что, быть может, одно и то же, но не способны что-либо осуществить. Сочетание Люсьена и Эррера создавало законченного политического деятеля. В этом несомненно крылась тайна подобной связи. Старцы, у которых жизненная энергия переместилась в область корыстолюбия, нередко чувствуют потребность в красивой марионетке, в молодом и страстном актере для выполнения своих замыслов. Ришелье чересчур поздно стал искать прекрасное существо, белолицее и с пышными усами, чтобы бросить его на забаву женщинам. Не понятый юными ветрениками, он был вынужден изгнать мать своего властителя и повергнуть в ужас королеву, попытавшись прежде обольстить и ту и другую, хотя не имел никаких данных, чтобы пленять

⁶ Неограниченная монархия (*лат.*). Формула испанского абсолютизма.

⁷ Придворная клика, окружавшая Фердинанда VII и действовавшая путем интриг и доносов (*исп.*).

королев. Что станешь делать? В жизни честолюбца неизбежно столкновение с женщинами, и именно в ту минуту, когда менее всего можно ожидать подобной встречи. Как бы ни был могуществен крупный политический деятель, ему нужна женщина, чтобы ее противопоставить женщине, – так голландцы алмаз шлифуют алмазом. Рим во времена своего могущества подчинился этой необходимости. Заметьте также, насколько Мазарини, итальянский кардинал, могущественнее Ришелье, французского кардинала! Ришелье встречает сопротивление знати и пускает в дело топор; он умирает в зените власти, изнуренный поединком, в котором его соратником был один лишь капуцин. Мазарини отвергнут буржуазией и дворянством, объединившимися, вооруженными, порою победоносными и обратившими в бегство королевскую семью; но слуга Анны Австрийской никому не отрубит голову, он сумеет покорить Францию и оказать влияние на Людовика XIV, который, завершив дело Ришелье, удушит дворянство золоченым шнуром в великом Версальском серале. Умерла г-жа де Помпадур – погиб Шуазель. Извлек ли Эррера урок из этих знаменитых примеров? Воздал ли он себе должное ранее, нежели то сделал Ришелье? Не избрал ли он в лице Люсьена своего Сен-Мара, но Сен-Мара верно? Никто не мог бы ответить на эти вопросы, никто не мог познать меру честолюбия испанца, как нельзя было предугадать, какой конец его ждет. Подобные вопросы, задававшиеся всеми, кому удавалось обнаружить эту связь, столь долго скрываемую, клонились к тому, чтобы разгадать страшную тайну, в которую Люсьен был посвящен лишь несколько дней назад. Карлос был вдвойне честолюбцем – вот о чем говорило его поведение людям, знавшим его и считавшим Люсьена его незаконным сыном.

Не прошло и полутора лет с того вечера, как Люсьен появился в Опере, слишком рано вступив в свет, куда аббат желал ввести его лишь хорошо подготовив и вооружив против этого света, а у него стояли уже в конюшне три чистокровные лошади, карета для вечерних выездов, кабриолет и тильбюри для утренних. Он обедал в городе. Ожидания Эррера сбылись: его ученик отдался всецело удовольствиям рассеянной жизни, но ведь в расчеты священника входило отвлечь юношу от безрассудной любви, таившейся в его сердце. Однако Люсьен успел уже истратить около сорока тысяч франков, и все же после каждого нового безумства его все неудержимее влекло к Торпиль; он упорно искал ее и не находил, она становилась для него тем же, чем дичь для охотника. Мог ли Эррера понять природу любви поэта? Стоит этому чувству, воспламенив сердце и овладев всем существом такого взрослого младенца, коснуться его сознания, и поэт так же высоко возносится над человечеством силою своей любви, как высоко он вознесен над ним могуществом своего воображения. Отмеченный по прихоти духовной своей природы редкой способностью передавать действительность образами, в которых запечатлеваются и чувство и мысль, он дарует любви крылья своего духа: он чувствует и изображает, он действует и размышляет, он мыслью множит ощущения; в своих мечтах о будущем и в воспоминаниях о прошлом он втайне переживает блаженство настоящего; он вносит в него утонченные наслаждения духа, возвышающие его над всеми художниками. Страсть поэта становится тогда величавой поэмой, в которой сила человеческих чувств выходит за пределы возможного. Не ставит ли поэт свою возлюбленную выше того положения, которым довольствуется женщина? Как благородный Ламанческий рыцарь, он преображает крестьянку в принцессу. Он владеет волшебной палочкой, и все, к чему он ни прикоснется ею, превращается для него в нечто чудесное, и он возвышает сладострастие, перенося его в область идеального. От того-то подобная любовь становится образцом страсти: она чрезмерна во всем – в надеждах, в отчаянии, в гневе, в печали, в радости; она царит, она несется вскачь, она пресмыкается, она не схожа ни с одним из бурных чувств, испытываемых заурядными людьми; перед нею мещанская любовь – что ручеек в долине перед бурным потоком в Альпах. Эти прекрасные художники так редко бывают поняты, что обычно расточают себя в обманчивых надеждах; они увядают в поисках идеальных возлюбленных, они почти всегда погибают, как гибнут под ногами прохожих красивые насекомые, щедро изукрашенные по самой поэтической из причуд

природы для пиршества любви, но так и не познавшие любовной страсти. Но есть и иная опасность! Когда им случится встретить тип красоты, родственный им по духу, но нередко скрывающий под своей оболочкой какую-нибудь мещанку, они поступают, как прекрасное насекомое, они поступают, как Рафаэль: они умирают у ног *Форнарины*. Люсьен был близок к этому. Его поэтическая натура, чрезмерная во всем, как в добре, так и в зле, открыла ангела в девушке, скорее коснувшейся разврата, нежели развращенной: она всегда являлась перед ним лучезарной, окрыленной, невинной и загадочной, какой она стала ради него, угадывая, что именно такой он ее хочет видеть.

В конце мая месяца 1825 года Люсьен утратил всю свою живость: он не выходил из дому, обедал с Эррера, впал в задумчивость, работал, читал собрание дипломатических договоров, сидел по-турецки на диване и три-четыре раза в день курил кальян. Его грум каждодневно прочищал и протирал духами трубки изящного прибора и гораздо реже чистил лошадей и украшал сбрую розами для выезда в Булонский лес. В тот день, когда испанец заметил на побледневшем челе Люсьена следы недуга, вызванного безумствами неудовлетворенной любви, он пожелал постигнуть до конца сердце того человека, на котором он основал благополучие своей жизни.

Однажды вечером Люсьен, откинувшись в кресле, безучастно созерцал закат солнца сквозь деревья в саду и завесу благоуханного дыма, подымавшегося после каждой его затяжки, равномерной и медлительной, как у всякого погруженного в раздумье курильщика; вдруг чей-то глубокий вздох нарушил его задумчивость. Он обернулся и увидел аббата, который стоял, скрестив на груди руки.

– Ты здесь! – воскликнул поэт.

– И давно, – отвечал священник. – Моя мысль следила за полетом твоей...

Люсьен понял.

– Я никогда не воображал себя железной натурой. Я не ты. Жизнь для меня то рай, то ад попеременно; но если случайно она перестает быть тем и другим, она наводит на меня скуку, я скучаю...

– Как можно скучать, когда у тебя столько радужных надежд...

– Если не веришь в эти надежды или если они чересчур туманны, то...

– Полно ребячиться!.. – прервал его священник. – Гораздо достойней и тебя и меня открыть мне свое сердце. Между тем есть нечто, чего никогда не должно было быть: тайна! Давность тайны – год и четыре месяца. Ты любишь женщину.

– Положим...

– Непотребную девку по прозвищу Торпиль...

– А если и так?

– Дитя мое, я позволил тебе обзавестись любовницей, но это женщина, представленная ко двору, молодая, прекрасная, влиятельная, более того – графиня. Я избрал для тебя госпожу д'Эспар, чтобы обратить ее, не совестясь, в орудие твоего успеха; ведь она никогда бы не растлила твоего сердца, она не посягала бы на его свободу... Полюбить блудницу самого низкого пошиба, если не обладаешь властью, подобно королям, пожаловать ее титулом, – огромная ошибка.

– Разве я первый пожертвовал честолюбием, чтобы вступить на путь безумной любви?

– Хорошо, – сказал священник, подняв bochetti⁸, оброненный Люсьеном, и подавая ему. – Я понял колкость. Но разве нельзя соединить честолюбие и любовь? Дитя, в лице старого Эррера перед тобою мать, преданность которой безгранична...

– Знаю, старина, – сказал Люсьен, беря его руку и пожимая ее.

– Ты пожелал игрушек, роскоши – ты их получил. Ты желаешь блистать – я направляю тебя по пути власти; я лобызаю достаточно грязные руки, чтобы возвысить тебя, и ты возвы-

⁸ Чубук (ит.).

сишься. Подожди еще немного, и ты не будешь знать недостатка ни в чем, что прельщает мужчин и женщин. Женственный в своих прихотях, ты мужествен умом: я все в тебе понял, я все тебе прощаю. Скажи лишь слово, и все твои мимолетные страсти будут удовлетворены. Я возвеличил твою жизнь, окружив ее ореолом политики и власти, излюбленными кумирами большинства людей. Ты будешь настолько же велик, насколько ты ничтожен сейчас; но не следует разбивать шибало, которым мы чеканим монету. Я разрешаю тебе все, кроме ошибок, пагубных для твоего будущего. Когда я открываю перед тобою салоны Сен-Жерменского предместья, я запрещаю тебе валяться в канавах. Люсьен, ради твоих интересов я буду тверд, как железо, я все от тебя вытерплю ради тебя! Поэтому я исправил твой промах в жизненной игре тонким ходом искусного игрока... (Люсьен гневным движением вскинул голову.) Я похитил Торпиль!..

– Ты? – вскричал Люсьен.

В припадке бешенства поэт вскочил, швырнул золотой, усыпанный драгоценными камнями bochettiно в лицо священнику и толкнул его так сильно, что атлет опрокинулся навзничь.

– Да, я! – поднявшись на ноги, ответил испанец, по-прежнему сохраняя страшную серьезность.

Черный парик свалился. Голый, как у скелета, череп словно обнажил подлинное лицо этого человека, – оно было ужасно. Люсьен сидел в креслах, опустив руки, удрученный, вперив в аббата бессмысленный взгляд.

– Я увез ее, – продолжал священник.

– Что ты сделал с ней? Ты увез ее на другой день после маскарада...

– Да, на другой день после того, как увидел, что существо, принадлежащее тебе, оскорбили бездельники, которым я не подал бы руки...

– Бездельники! – перебил его Люсьен. – Лучше скажи: чудовища, перед которыми те, кого казнят на гильотине, – ангелы. Знаешь ли ты, что сделала бедная Торпиль для трех из них? Один два месяца был ее любовником: она жила в нищете и подбирала крохи на улице – у него не было ни гроша, он дошел до того состояния, в котором находился я, когда ты меня встретил у реки. И вот наш малый вставал ночью, подходил к шкафу, куда эта девушка ставила остатки своего обеда, и съедал их; кончилось тем, что она обнаружила его проделки; почувствовав стыд за него, она решила оставлять побольше пищи и была счастлива. Эту историю она рассказала только мне, в фиакре, возвращаясь из Оперы. Второй совершил кражу, но, прежде чем кража была обнаружена, он успел положить деньги на прежнее место; деньги для него достала она, а он так и забыл вернуть их. Третий? Судьбу третьего она устроила, разыграв комедию с блеском, достойным таланта Фигаро: она представилась его женой и стала любовницей влиятельного человека, считавшего ее самой простодушной мещанкой. Одному – жизнь, другому – честь, а третьему – положение, что всего важнее сейчас! И вот как она была ими вознаграждена.

– Хочешь, они умрут? – спросил Эррера, прослезившись.

– Перестань! Всегда одно и то же! Ты верен себе...

– Нет, узнай все, вспыльчивый поэт, – сказал священник. – Торпиль более не существует...

Люсьен, вскочив с кресла, так неожиданно бросился к Эррера, пытаясь схватить его за горло, что всякий другой упал бы, но рука испанца удержала поэта.

– Выслушай, – сказал он холодно. – Я сделал ее женщиной целомудренной, безупречной, хорошо воспитанной, религиозной, словом, порядочной женщиной; она на пути просвещения. Она может, она должна стать под влиянием твоей любви какою-нибудь Нинон, Марион Делорм, Дюбарри, как сказал тот журналист в Опере. Ты либо открыто признаешь ее своей возлюбленной, либо укроешься в тени своего творения, что будет благоразумнее! То и другое принесет тебе пользу и славу, наслаждения и успех; но если ты столь же хороший политик, как и поэт, Эстер останется для тебя только любовницей, ведь может случиться, что она выучит

нас когда-нибудь из беды, – она ценится на вес золота. Пей, но не опьяняйся! Что стало бы с тобой, если бы я не руководил твоей страстью? Ты погряз бы вместе с Торпиль в скверне нищеты, откуда я тебя вытащил. Вот прочти, – сказал Эррера так просто, как Тальма в «Манлии», которого он никогда не видел.

Листок бумаги упал на колени поэта и вывел его из того восторженного состояния, в которое его поверг необычайный ответ; он взял листок и прочел первое письмо, написанное мадемуазель Эстер:

«Господину аббату Карлосу Эррера

Дорогой покровитель, не сочтете ли Вы, что чувство благодарности у меня сильнее чувства любви, если я, желая выразить свою признательность, впервые излагаю свои мысли на бумаге, в письме к Вам, вместо того чтобы посвятить его изливаниям любви, быть может, уже забытой Люсьеном? Но Вам, священнослужителю, я скажу то, чего не осмелилась бы сказать ему, на мое счастье еще привязанному к земле. Вчерашний обряд исполнил меня благодати, и я снова веряю свою судьбу в ваши руки. Если мне и суждено умереть вдали от моего возлюбленного, я умру очищенной, как Магдалина, и моя душа, быть может, станет соперницей его ангела-хранителя. Забуду ли я когда-нибудь вчерашнее торжество? Можно ли отречься от славного престола, на который я вознесена? Вчера я смыла с себя весь мой позор в водах крещения и вкусила святого тела Господня; теперь я одна из его дарохранительниц. В ту минуту я услышала хор ангелов, я не была более женщиной, я рождалась к светлой жизни среди земных приветственных кликов, мирского восхищения, духовных песнопений, в облаке фимиама, в праздничных одеждах, как дева, встречающая небесного жениха. Почувствовав себя достойной Люсьена, на что я никогда не надеялась, я отреклась от греховной любви и не желаю иного пути, как путь добродетели. Если тело мое слабее души, пусть оно погибнет. Решайте мою судьбу и, если я умру, скажите Люсьену, что я умерла для него, возродившись для Бога.

Воскресенье, вечером».

Люсьен поднял на аббата глаза, затуманенные слезами.

– Ты знаешь квартиру толстухи Каролины Бельфей, что на улице Тетбу? – снова заговорил испанец. – Этой девице, когда ее покинул судейский и она очутилась в крайней нужде, грозил арест; я приказал купить всю ее обстановку, она выехала оттуда с одними тряпками. Эстер, ангел, мечтавший вознестись на небо, снизошла туда и тебя ожидает.

В эту минуту со двора до слуха Люсьена донесся нетерпеливый топот горячившихся лошадей; у него не достало слов выразить восхищение той преданностью, которую он один мог оценить, и, бросившись в объятия оскорбленного им человека, искупив все одним лишь взглядом, безмолвным изливанием чувств, сбежал по ступеням лестницы, шепнул адрес Эстер на ухо груму, и лошади помчались, точно страсть их владельца воодушевляла их бег.

На другой день человек, которого по одежде можно было счесть за переряженного жандарма, прохаживался по улице Тетбу, против одного из домов, казалось, ожидая, что кто-то оттуда выйдет, походка этого человека выдавала его волнение. В Париже вы часто можете встретить подобных любителей прогулок: это жандармы, отслеживающие беглеца из Национальной гвардии, сыщики, подготовляющие чей-нибудь арест, заимодавцы, измышляющие козни против должника, который заперся у себя в четырех стенах, любовники или ревнивые и подозрительные мужья, друзья, шпионящие по просьбе друга; но редко вы встретите лицо, на котором так ясно читались бы столь дикие и жестокие мысли, как на лице этого мрачного атлета, сосредоточенно и беспокойно, точно медведь в клетке, ходившего взад и вперед под окнами мадемуазель Эстер. В полдень открылось окно, и рука служанки распахнула ставни с мягкой обивкой. Через несколько минут к окну подошла подышать воздухом Эстер в домашнем платье, она опиралась на Люсьена; каждый, взглянув на них, подумал бы, что перед ним

подлинная английская статуэтка. Эстер мгновенно узнала испанского священника по его глазам василиска, и в ужасе бедная девушка вскрикнула, точно пронзенная пулей.

– Вот он, страшный священник, – сказала она, указывая на него Люсьену.

– Этот? – спросил Люсьен, улыбнувшись. – Он такой же священник, как ты...

– Но кто же он? – сказала она, трепеща.

– О, это старый мошенник, который верует в одного лишь дьявола, – ответил Люсьен.

Луч света, упавший на тайну лжесвященника, мог навеки погубить Люсьена, если бы на месте Эстер было существо менее преданное. Едва любовники отошли от окна спальни и направились в столовую, где их ожидал завтрак, перед ними предстал Карлос Эррера.

– Зачем ты пришел сюда? – резко сказал ему Люсьен.

– Благословить вас, – отвечал этот дерзкий человек, остановив юную чету и принудив ее задержаться в маленькой гостиной. – Послушайте, мои душеньки! Веселитесь, будьте счастливы, я рад. Счастье во что бы то ни стало – вот моя заповедь. Но ты, – сказал он Эстер, – ты, которую я поднял из грязи, ты, душу и тело которой я отмыл дочиста, надеюсь, не станешь поперек дороги Люсьену?.. Что касается до тебя, дружок, – помолчал минуту, продолжал он, глядя на Люсьена, – ты теперь уже не настолько поэт, чтобы пренебречь всем ради какой-нибудь Корали. Мы пишем прозу. Какая будущность у любовника Эстер? Никакой. Может ли Эстер стать госпожой де Рюампре? Нет. Стало быть, моя милая, – сказал он, опуская свою руку на руку Эстер, содрогнувшейся, точно от прикосновения змеи, – свет не должен знать о существовании Эстер; свет в особенности не должен знать, что какая-то мадемуазель Эстер любит Люсьена и что Люсьен ею увлечен... Этот дом будет вашей тюрьмой, малютка. Если вы пожелаете выйти на воздух и ваше здоровье того потребует, вам придется выезжать ночью, в часы, когда вас никто не встретит, ибо ваша красота, ваша молодость, благовоспитанность, приобретенная вами в монастыре, были бы слишком скоро замечены в Париже. День, когда в свете кто-либо узнает, что Люсьен ваш любовник или что вы его любовница, будет кануном последнего дня вашей жизни, – сказал он зловещим голосом, сопровождая свои слова еще более зловещим взглядом. – Мы добились для этого юнца указа, который позволяет ему носить имя и герб его предков по женской линии. Но это еще не все! Титул маркиза нам пока не возвращен; чтобы его получить, он должен жениться на девице знатного рода, только тогда король окажет нам эту милость. Такой брак введет Люсьена в придворный мир. Младенец, из которого я сумел сделать мужчину, станет сначала секретарем посольства; позже он будет посланником при каком-нибудь дворе в Германии и, с помощью Божьей или моей (что вернее), со временем займет свое место на скамье пэров...

– Или на скамье... – сказал Люсьен, прерывая этого человека.

– Замолчи! – вскричал Карлос, прикрыв широкой ладонью рот Люсьена. – Подобную тайну доверить женщине!.. – шепнул он ему на ухо.

– Эстер – женщина? – воскликнул автор «Маргариток».

– Снова сонеты! – сказал испанец. – Верней, пустоцветы... Все эти ангелы опять превращаются в женщин рано или поздно, а у любой женщины выпадают минуты, когда она становится похожа на обезьяну и ребенка одновременно! А оба эти существа могут вас убить смеха ради. Эстер, сокровище мое, – обратился он к испуганной пансионерке, – я вам нашел горничную, создание, преданное мне, как дочь. Поварихой у вас будет мулатка, это дает хороший тон дому. С Европой и Азией вы на тысячу франков в месяц, включая все расходы, будете жить как королева... театральных подмостков. Европа была портнихой, модисткой и статисткой. Азия служила у лорда, любителя покушать. В лице этих двух особ вы как бы обретаєте двух фей.

Рядом с этим существом, виновным по меньшей мере в кощунстве и обмане, Люсьен казался младенцем, и сердце женщины, освященной его любовью, сжалось от ужаса. Она молча увлекла Люсьена в спальню и спросила:

– Он дьявол?

– Страшнее дьявола... для меня! – добавил он с горячностью. – Но если ты меня любишь, веди себя так, будто ты предана этому человеку, и повинуйся ему под страхом смерти...

– Смерти? – сказала она, еще сильнее испугавшись.

– Смерти, – повторил Люсьен. – Увы, моя козочка, никакая смерть не может сравниться с тем, что меня ожидает, если...

Эстер побледнела, услышав эти слова. Она едва не лишилась чувств.

– Ну, где же вы! – крикнул им лжесвященник. – Все еще обрываете лепестки маргариток?

Эстер и Люсьен снова вернулись в комнату, и бедная девушка, не смея взглянуть на таинственного человека, сказала:

– Вам будут повиноваться, как повинуются Богу, сударь.

– Отлично! – отвечал он. – Вы можете некоторое время наслаждаться счастьем, а туалеты вам понадобятся только домашние и ночные, что очень экономно.

Любовники направились было в столовую, но покровитель Люсьена жестом вернул прелестную чету; они остановились перед ним.

– Я только что говорил о ваших слугах, дитя мое, – сказал он Эстер, – я должен вам их представить.

Испанец позвонил два раза. Появились две женщины, которых он называл Европой и Азией, и сразу стала понятна причина их кличек.

Азия, по-видимому, уроженка острова Явы, устрасала взор плоским, как доска, лицом медного цвета, присущего малайцам, с вдавненным, словно от сильного удара, носом. Необычная форма нижней челюсти придавала этому лицу сходство с мордой обезьян крупной породы. Лоб, хотя и низкий, свидетельствовал о сообразительности, которую развила привычка хитрить. Блестящие маленькие глаза, бесстрастные, как глаза тигра, смотрели в сторону. Азия точно страшилась ужаснуть окружающих. Синеватые губы приоткрывали ряд ослепительно белых, но неровных зубов. Все черты этой животной физиономии выражали низменность ее природы. Ее волосы, лоснящиеся и жирные, как и кожа лица, окаймляли по обе стороны черными полосками головную повязку из дорогого шелка. Уши, необыкновенно красивые, были украшены двумя крупными черными жемчужинами. Низенькая, коренастая, Азия напоминала причудливые существа, изображаемые китайцами на своих ширмах, или, точнее, индусских идолов, прообраз которых, казалось бы, не существующий в природе, все же удалось встретить путешественникам. При виде этого чудовища, обряженного в белый передник поверх шерстяного платья, Эстер вздрогнула.

– Азия! – сказал испанец, и на его зов женщина покорно подняла голову, как собака, когда ее окликает хозяин. – Вот ваша госпожа.

И он показал пальцем на Эстер, одетую в утреннее платье. Азия посмотрела на юную фею почти со скорбью, но тут же ее огненный взгляд, притушенный короткими густыми ресницами, искрой пожара перекинулся на Люсьена; облаченный в великолепный с распахнутыми полами халат, сорочку из тонкого полотна и красные панталоны, в турецкой феске на голове, из-под которой выбивались крупные кольца белокурых волос, он был божественно хорош. Итальянский гений может сочинить легенду об Отелло, гений англичанина может вывести его на сцену, но только природа может в одном-единственном взгляде воплотить ревность с блеском и совершенством, не доступным ни Англии, ни Италии. Этот взгляд, уловленный Эстер, заставил ее схватить испанца за руку и вцепиться в нее ногтями, подобно кошке, повисшей над бездной. Испанец сказал азиатскому чудовищу несколько слов на неизвестном языке, тогда это существо опустилось на колени, подползло к ногам Эстер и поцеловало их.

– Она – не просто кухарка, а повариха, которая самого Карема свела бы с ума от зависти, – сказал испанец Эстер. – Азия в этом деле большая мастерица. Она приготовит простое блюдо из фасоли так, что вы усомнитесь, уж не ангелы ли снизошли с небес, чтобы приправить его райскими травами. Она будет каждое утро ходить на рынок и торговаться, как дьявол, – а она

и есть дьявол, – лишь бы не переплатить. Любопытным наскучит ее скрытность. Вероятно, вас будут принимать за особу, прибывшую из Индии, и Азия отлично поможет вам придать этой басне правдоподобие, ибо она из тех парижанок, которые по своему вкусу выбирают место рождения. Но я думаю, вам незачем слыть иностранкой... Европа, что ты скажешь?

Европа представляла собой совершенную противоположность Азии: то был тип субретки, столь миловидной, что Монроз не пожелал бы для себя лучшей партнерши на сцене. Стройная, с виду ветреная, с мордочкой ласки, с острым носиком, Европа являла взору утомленное парижским развратом лицо, бледное от питания картофелем девичье лицо с вялой в прожилках кожей, тонкое и упрямое. Ножка вперед, руки в карманах передника, она, даже храня неподвижность, казалось, не стояла на месте, столько было в ней живости. Гризетка и статистка одновременно, она, несмотря на молодость, перебрала, видимо, немало профессий. Вполне возможно, что развращенная, как все *маделонетки*, взятые вместе, она, обокрав родных, познакомилась со скамьей подсудимых в исправительной полиции. Азия внушала великий ужас, но вся ее сущность раскрывалась в одну минуту: она была прямой наследницей Локусты, меж тем как Европа пробуждала тревогу, все возрастающую по мере ее услужливости: распущенности ее, казалось, не было предела; она, как говорят в народе, прошла огонь и воду и медные трубы.

– Мадам могут быть родом из Валенсьена, я оттуда, – сказала Европа суховато. – Не соблаговолит ли мосье сообщить, как он желал бы именовать мадам? – спросила она Люсьена с самым педантичным видом.

– Госпожа Ван Богсек, – отвечал испанец, тут же переставив буквы в фамилии Эстер. – Мадам – еврейка, родом из Голландии, вдова негоцианта, страдает болезнью печени, вывезенной с Явы... Состояние небольшое, чтобы не возбуждать любопытства.

– Живет на шесть тысяч франков ренты, и мы будем жаловаться на ее скупость, – сказала Европа.

– Отлично, – сказал испанец, кивнув головой. – Проклятые шутихи! – продолжал он страшным голосом, перехватив взгляд, которым обменялись Азия и Европа и который ему не понравился. – Помните, что я вам сказал! Вы прислуживаете королеве, вы обязаны оказывать ей уважение, подобающее королеве, вы будете ей преданы, как мне. Ни привратник, ни соседи, ни жильцы, короче говоря, никто на свете не должен знать, что здесь происходит. Вы обязаны пресечь всякое любопытство, если оно будет проявлено. А ваша госпожа, – прибавил он, опуская широкую волосатую руку на руку Эстер, – не должна позволить себе ни малейшей неосмотрительности, вы ее остережете в случае надобности, но... всегда соблюдая почтительность. Вы, Европа, будете сноситься с внешним миром, заботясь о нарядах вашей госпожи, причем старайтесь быть поэкономней. Короче, никто, даже самый безобидный человек, не смеет переступить порог этой квартиры. Вы обе обязаны целиком обслуживать дом. Красавица моя! – сказал он, обращаясь к Эстер. – Когда вы пожелаете выехать вечером в карете, вы об этом скажете Европе; она знает, где искать ваших слуг, ибо у вас будет выездной лакей, тоже в моем вкусе, как эти рабыни.

Эстер и Люсьен не находили слов, они молча слушали испанца и смотрели на этих двух диковинных особ, которым тот отдавал приказания. Какая тайна обязывала этих женщин к тому подчинению, к той преданности, что была написана на их лицах, – у одной столь злобном и своенравном, у другой столь безгранично жестоком? Он угадал мысли Эстер и Люсьена, казалось оцепеневших, подобно Полю и Виргинии, вдруг увидевшим двух ядовитых змей, и добродушно шепнул им:

– Вы можете положиться на них, как на меня; ни единой тайны от них, это им польстит. Азия, подавай к столу, моя милая, – сказал он поварихе. – А ты, душенька, поставь еще прибор, – приказал он Европе. – Во всяком случае, папаша заслужил, чтобы детки угостили его завтраком.

Как только дверь за женщинами захлопнулась, испанец, прислушавшись к суетливой бегодне Европы, сказал Люсьену и молодой девушке, сжимая свой мощный кулак:

– Я их держу крепко!

Эти слова и жест заставили бы каждого содрогнуться.

– Где ты их нашел? – воскликнул Люсьен.

– Э-э, черт возьми! Я не искал их у подножья тронов, – отвечал этот человек. – Европа выбралась из грязи и боится вновь туда окунуться... Если они не будут достаточно услужливы, пригрозите *господином аббатом*, и вы увидите, что они задрожат, точно мыши при слове «кошка». Я ведь укротитель диких зверей, – добавил он, улыбаясь.

– А мне кажется, что вы демон! – воскликнула Эстер, грациозно прижимаясь к Люсьену.

– Дитя мое, я пытался вас посвятить небу; но раскаявшаяся блудница, даже найдись такая, только вводит в обман церковь: попав в рай, она опять станет куртизанкой... Вы выиграли, заставив забыть о себе и усвоив манеры порядочной женщины; теперь вы обучены всему, чему не могли бы обучиться в вашей гнусной среде... Вы ничем мне не обязаны, – сказал он, заметив прелестное выражение признательности на лице Эстер, – я все это сделал ради него... – И он указал на Люсьена. – Вы девка и останетесь девкой, умрете девкой, потому что, несмотря на заманчивые теории животноводства, нельзя в этом мире быть не кем иным, кроме как самим собою. Знаток по части шишек прав! У вас шишка любви.

Испанец, как видно, был фаталистом, подобно Наполеону, Магомету и многим великим политикам. Удивительная вещь! Почти все люди действия склонны к фатализму, так же как большинство мыслителей склонны верить в провидение!

– Я не знаю, что я такое, – отвечала Эстер с ангельской кротостью, – но я люблю Люсьена и умру, обожая его.

– Ступайте завтракать, – грубо сказал испанец, – и молитесь Богу, чтобы Люсьен не слишком скоро женился, тогда вы его больше не увидите.

– Его женитьба была бы моей смертью, – сказала она.

Она уступила дорогу лжесвященнику, чтобы украдкой шепнуть Люсьену:

– Неужели ты хочешь отдать меня во власть человека, который приставил ко мне этих двух гиен?

Люсьен повернул голову. Бедная девушка затаила печаль и казалась веселой; но она была крайне угнетена. Понадобилось более года неусыпных и самоотверженных забот, чтобы она свыклась наконец с двумя чудовищами, которых Карлос Эррера называл *сторожевыми псами*.

До времени своего возвращения в Париж Люсьен вел себя так осмотрительно, что должен был возбудить зависть всех прежних друзей, чего он и добился; между тем единственной его мезьей служили его успехи, бесившие их, а также его безукоризненная внешность и умение держать людей на расстоянии. Поэт, столь общительный, столь непосредственный, стал холоден и замкнут. Де Марсе, служивший образцом для подражания парижской молодежи, и тот не был так сдержан в речах и поступках. Что же касается ума, журналист дал в свое время тому доказательство. Де Марсе, которому многие противопоставляли Люсьена и с готовностью отдавали предпочтение поэту, проявил мелочность характера, озлобившись на него. Люсьен, оказавшись в большой милости у людей власти имущих, настолько отрешился от мечтаний о литературной славе, что ничуть не был тронут ни успехом своего романа, переизданного под его настоящим названием «Лучник Карла IX», ни шумом вокруг сонетов, вышедших под заглавием «Маргаритки» и распроданных Дориа в одну неделю. «Посмертный успех!» – смеясь, отвечал он поздравлявшей его мадемуазель де Туш. Страшный испанец направлял свое творение железной рукой на тот путь, который для терпеливого политика завершается победными фанфарами и трофеями. Люсьен снял холостую квартиру Боденора на набережной Малакэ, чтобы быть поближе к улице Тетбу, а его наставник поместился в трех комнатах в четвертом этаже того же дома. Люсьен довольствовался теперь одной верховой лошастью и одной выезд-

ной, лакеем и конюхом. Когда он не обедал в городе, он обедал у Эстер. Карлос Эррера так зорко наблюдал за слугами на набережной Малакэ, что у Люсьена уходило на жизнь меньше десяти тысяч франков в год. Для Эстер десяти тысяч франков было достаточно благодаря неизменной и непостижимой преданности Европы и Азии. Люсьен принимал, впрочем, чрезвычайные меры предосторожности, посещая улицу Тетбу. Он приезжал туда в экипаже с опущенными занавесками, и карета всегда въезжала во двор. Поэтому страсть его к Эстер и существование дома на улице Тетбу, тщательно скрываемого от света, ничуть не повредили ни одному из его начинаний, ни одной из его связей; ни разу не вырвалось у него неосторожного слова на эту щекотливую тему. Ошибки подобного рода, совершенные им при Корали, в пору его первого появления в Париже, послужили ему опытом. Кроме того, жизнь его отличалась той упорядоченностью хорошего тона, которая позволяет скрывать немало тайн: он проводил в свете все вечера до часу ночи; дома его можно было застать от десяти часов утра до часу пополудни; затем он выезжал в Булонский лес и делал визиты до пяти часов дня. Он редко ходил пешком, таким образом избегая своих старых знакомых. Когда его приветствовал кто-нибудь из журналистов или из его прежних друзей, он отвечал поклоном достаточно вежливым, чтобы не вызвать обиды, но говорившим о большом высокомерии, которое не допускало французской непринужденности в обращении. Таким образом, он живо избавился от лиц, которых более не желал знать. Давняя вражда препятствовала ему сделать визит г-же д'Эспар, которая не однажды выражала желание видеть его у себя; однако, если ему случалось встретиться с нею у герцогини де Мофриньез или у мадемуазель де Туш, у графини де Монкорне или в каком-либо другом месте, он держался с нею чрезвычайно учтиво. Равную ненависть питала к нему и госпожа д'Эспар, тем самым поддерживая в Люсьене неизменную настороженность, ибо в дальнейшем мы увидим, как он разжег эту ненависть, позволив себе однажды отомстить ей, что стоило ему, к слову сказать, строгого выговора Карлоса Эррера. «Ты еще недостаточно силен, чтобы мстить кому тебе вздумается, – сказал ему испанец. – Когда идешь под палящим солнцем, не останавливайся на пути, чтобы сорвать пусть даже самый красивый цветок...» Перед Люсьеном открывалось слишком блестящее будущее, превосходство его было слишком явным, чтобы молодые люди, встревоженные или уязвленные его возвращением в Париж и его непостижимой удачей, не обрадовались возможности при случае сыграть с ним злую шутку. Люсьен знал, что у него много врагов, но и козни друзей не были для него тайной. К тому же аббат заботливо предостерегал своего приемного сына от предательства света, от безрассудств, столь роковых в юности. Люсьен был обязан рассказывать и каждый вечер рассказывал аббату о самых пустых событиях дня. Благодаря советам своего наставника он обезоруживал наиболее изощренное любопытство – любопытство света. Скрытый под маской английской серьезности, защищенный редутами, которые воздвигает осторожность дипломатов, он никому не предоставлял права или случая ознакомиться со своими делами. Наконец, его юное и прекрасное лицо приучилось хранить в светских гостиных то бесстрастное выражение, которое отличает лица принцесс на официальных приемах. И вот в середине 1829 года заговорили о его женитьбе на старшей дочери герцогини де Гранлье, которой тогда нужно было пристроить четырех дочерей. Никто не сомневался в том, что король ради этого брака окажет милость Люсьену, вернув ему титул маркиза. Этот брак должен был решить политическую карьеру Люсьена, которого, видимо, прочили в посланники при одном из немецких дворов. Три последних года жизнь Люсьена отличалась особенной безупречностью; недаром де Марсе, подметив эту особенность, сказал: «За спиной этого юноши стоит кто-то из сильных мира сего!» Таким образом, Люсьен стал почти значительным лицом. К тому же и страсть к Эстер очень помогала ему разыгрывать роль серьезного человека. Привычка подобного рода предохраняет честолюбцев от многих глупостей; удовлетворенная любовь ослабляет влияние физиологии на нравственность. Что касается счастья, которым наслаждался Люсьен, то оно было воплощением мечты, которой некогда жил поэт, сидя в своей мансарде на хлебе и воде без единого су в кармане. Эстер, идеал

влюбленной куртизанки, хотя и напоминала Люсьену Корали, актрису, с которой у него была связь, длившаяся один год, однако ж она совершенно затмевала ее. Все любящие и преданные женщины грезят об уединении, таинственности, о жизни жемчужины на дне морском; но у большинства это всего лишь милые причуды, тема для болтовни, мечта доказать свою любовь, никогда ими не осуществляемая; между тем Эстер, для которой все еще внове было ее блаженство, внове пламенный взор Люсьена, ощущаемый ею всякий час, всякое мгновение, ни разу за все четыре года не обнаружила любопытства. Все ее помыслы были направлены на то, чтобы не выходить за пределы программы, начертанной рукой рокового испанца. Более того, среди пьянящих наслаждений она не злоупотребляла неограниченной властью, дарованной любимой женщине неутолимыми желаниями любовника, и не искушала Люсьена вопросами об Эррера, который, впрочем, страшил ее по-прежнему; она не осмеливалась думать о нем. Расчетливые благодеяния этого непостижимого человека, которому несомненно Эстер была обязана и прелестью и манерами благовоспитанной женщины, и своим духовным перерождением, представлялись бедняжке каким-то задатком, полученным у преисподней. «Я должна буду когда-нибудь расплатиться за все это», – с ужасом говорила она самой себе. Ночью, если была хорошая погода, она выезжала в наемной карете, которая быстро катила по городу, очевидно, по приказу аббата, в чудесные леса в окрестностях Парижа – в Булонский, Венсенский, в Роменвиль или Виль д’Авре, чаще с Люсьеном, реже одна с Европой. Она бесстрашно гуляла в лесу, потому что ее сопровождал, когда ей случалось выезжать одной, великан-гайдук, одетый в самую что ни на есть нарядную ливрею и вооруженный ножом; весь его облик и могучая мускулатура изобличали необыкновенного силача. Этот страж был снабжен, по английской моде, тростью, так называемой *боевой дубинкой*, известной мастерам палочного удара, с помощью которой один человек может отразить нападение сразу нескольких противников. За все это время Эстер, выполняя волю аббата, не обмолвилась ни единым словом с гайдуком. Если госпожа желала вернуться домой, Европа окликала гайдука; гайдук свистом подзывал кучера, находившегося всегда на приличном расстоянии. Если Эстер гуляла с Люсьеном, за любовниками следовали Европа и гайдук, держась в ста шагах от них, подобно двум адским пажам из «Тысячи и одной ночи», которых волшебник дарит тем, кому он покровительствует. Парижане, и тем более парижанки, не знают очарования ночных прогулок в лесу. Тишина, лунные блики, одиночество действуют успокоительно, как ванна. Обычно Эстер выезжала в десять часов вечера, гуляла от двенадцати до часу ночи и возвращалась в половине третьего. День ее начинался не ранее одиннадцати часов. Она принимала ванну, потом тщательно совершала обряд туалета, не знакомый большинству парижских женщин, ибо он требует чересчур много времени и соблюдается лишь куртизанками, лоретками или знатными дамами, проводящими свои дни в праздности. Едва Эстер успевала окончить туалет, как являлся Люсьен, и она встречала его свежая, как только что распустившийся цветок. У нее не было другой заботы, как только счастье ее поэта; она была его вещью, иными словами, она предоставляла ему полную свободу. Взор ее никогда не устремлялся за пределы мирка, в котором она царила. Таков был настоящий совет аббата, ибо в планы прозорливого политика входило, чтобы Люсьен пользовался успехом у женщин. Счастье не имеет истории, и сочинители любой страны так хорошо это знают, что каждое любовное приключение оканчивают словами: «Они были счастливы!» Поэтому нам остается лишь разъяснить, каким образом могло расцвести в центре Парижа это поистине волшебное счастье. То было счастье в своем высшем выражении, поэма, симфония, длившаяся четыре года! Все женщины скажут: «Как долго!» Однако ни Эстер, ни Люсьен не сказали: «Слишком долго». Да и формула: «Они были счастливы» – находила в их любви более ясное подтверждение, нежели в волшебных сказках, потому что *у них не было детей*. Итак, Люсьен мог волочиться в свете, удовлетворять свои поэтические причуды и, скажем откровенно, выполнять обязательства, налагаемые на него положением. Он медленно продвигался на своем пути и тем временем оказывал тайные услуги некоторым политическим деятелям,

принимая участие в их работе. Он умел держать это в глубокой тайне. Он усердно поддерживал знакомство с г-жой де Серизи и, как говорили в салонах, был с нею в самых коротких отношениях. Г-жа де Серизи отбила Люсьена у герцогини де Мофриньез, но та, если верить молве, уже им не дорожила, – вот одно из тех словечек, которыми женщины мстят чужому счастью. Люсьен пребывал, так сказать, в лоне придворного духовенства и был близок с некоторыми дамами, приятельницами парижского архиепископа. Скромный и выдержанный, он терпеливо ожидал своего часа. Таким образом, де Марсе, который к тому времени женился и обрек свою жену на жизнь, сходную с жизнью Эстер, сам того не ведая, высказал истину. Но тайные опасности в положении Люсьена будут достаточно объяснены дальнейшими событиями нашей истории.

Таковы были обстоятельства, когда в одну прекрасную августовскую ночь барон Нусинген возвращался в Париж из имения одного поселившегося во Франции иностранного банкира, у которого он обедал. Имение это находилось в восьми лье от Парижа, в глуши провинции Бри. Кучер барона хвалился, что отвезет и привезет своего господина на его собственных лошадях, поэтому, как только наступила ночь, он позволил себе ехать шагом. Состояние животных, слуг и господина при въезде в Венсенский лес было таково: кучер, угостившийся на славу в буфетной знаменитого самодержца биржи, пьяный в лоск, спал, однако ж, не выпуская из рук вожжей и тем вводя в заблуждение прохожих. Лакей, сидя на запятках кареты, храпел, посвистывая, как волчок, вывезенный из Германии – страны резных деревянных фигурок, крепких рейнских вин и волчков. Барон пытался размышлять, но уже на мосту Гурне сладостная послеобеденная дремота смежила ему глаза. По опущенным вожжам лошади догадались о состоянии кучера, услышали неумолчный бас лакея, доносившийся с вахты в тылу, и, почувствовав себя хозяевами, воспользовались четвертью часа свободы, чтобы насладиться прогулкой по собственной прихоти. Как смышленные рабы, они предоставляли вору случай ограбить одного из крупнейших капиталистов Франции, ловчайшего из ловкачей, которым в конце концов присвоили выразительное прозвище: *Хищники*. Итак, оказавшись хозяевами положения и подстрекаемые любопытством, свойственным, как известно, домашним животным, они остановились на скрещении дорог перед встречными лошадьми, сказав им, конечно, на лошадином языке: «Чи вы? Что подельваете? Как поживаете?» Когда коляска остановилась, дремавший барон проснулся. Сначала ему показалось, что он все еще в парке своего собрата; вслед за тем его поразило небесное видение, и в такую минуту, когда он не был защищен обычным оружием – расчетом. Луна светила так ярко, что свободно можно было читать даже вечернюю газету. В тишине леса, в призрачном лунном сиянии, барон увидел женщину; она уже садилась в наемную карету, как вдруг ее внимание было привлечено редкой картиной: коляской, погруженной в сон! Все существо барона Нусингена словно озарило внутренним светом, когда он увидел этого ангела. Молодая женщина, заметив, что ею любуются, испуганно опустила вуаль. Гайдук издал хриплый крик и был, по-видимому, прекрасно понят кучером, потому что карета быстро покати-лась. Все чувства старого банкира взволновались; кровь отлила от ног, ударила в голову, от головы хлынула к сердцу, горло сжалось. Несчастный уже предвидел несварение желудка, чего он боялся пуще смерти, но все же поднялся с сиденья.

– *Пускай гальон! Больван! Тебе только би спать!* – кричал он. – *Сто франк! Поймать мне этот карет.*

При словах сто франков кучер проснулся, лакей зашевелился, расслышав, верно, их сквозь сон. Барон повторил приказание, кучер пустил лошадей вскачь и у Тронной заставы нагнал карету, несколько похожую на ту, в которой Нусинген видел божественную незнакомку; но в ней сидели, развалившись, старший приказчик из какого-то роскошного магазина и *порядочная* женщина с улицы Вивьен. Барон был сражен неудачей.

– *Ви жирни дурак! Шори* (читай Жорж) *нашель би этот женицин,* – выговаривал он слуге, куда таможенные служащие осматривали карету.

– Эх, господин барон, видно, не гайдук, а сам дьявол сидел на запятках и подсунил мне эту карету вместо той.

– *Тьяволь не существуй*, – сказал барон.

Барону Нусингену было, по его словам, шестьдесят лет; женщины стали для него безразличны, и тем более собственная жена. Он хвалился, что никогда не знал любви, доводящей до безрассудства. Он считал подлинным счастьем, что покончил с увлечениями, и без стеснения утверждал, что самая ангелоподобная из женщин не стоит того, во что она обходится, даже если отдается бескорыстно. Он слыл столь пресыщенным, что удовольствие быть обманутым покупал не дороже чем за две-три тысячи франков в месяц. Из ложи в Опере его холодные глаза бесстрастно изучали кордебалет. Ни один взгляд из этой опасной стаи юных старух и старых дев, избранниц парижских утех, не упал украдкой на этого капиталиста. Любовь животную, любовь показную и эгоистическую, любовь пристойную и тщеславную, любовь изощренную, любовь сдержанную и супружескую, любовь взбалмошную – барон все покупал, все изведal, кроме истинной любви. И эта любовь обрушилась на него, как орел на свою жертву, – так обрушилась она и на Генца, наперсника его светлости князя Меттерниха. Известны все глупости, которые натворил этот старый дипломат ради Фанни Эльслер: репетиции актрисы волновали его несравненно больше, нежели вопросы европейской политики. Женщина, поразившая денежный мешок, именуемый Нусингеном, представилась ему единственной в своем роде. Едва ли возлюбленная Тициана, Мона Лиза Леонардо да Винчи, Форнарина Рафаэля были столь прекрасны, как божественная Эстер, в которой самый опытный взгляд самого наблюдательного парижанина не мог бы подметить ни малейшей черты куртизанки. Недаром барона совершенно ошеломило величие и благородство облика, столь свойственное Эстер, – тем более Эстер любимой, окруженной изысканной роскошью, обожанием. Счастливая любовь – это святое причастие для женщины: она становится горда, как императрица. Барон восемь ночей сряду выезжал в Венсенский лес, затем в Булонский, затем в леса Виль д'Авре, затем в Медонский лес, наконец, во все окрестности Парижа и нигде не встретил Эстер. Одухотворенное еврейское лицо, как он говорил, *типлейски*, неотступно стояло перед его глазами. К концу второй недели он потерял аппетит. Дельфина Нусинген и его дочь Августа, которую баронесса начинала выводить в свет, не сразу заметили перемену, происшедшую в бароне. Мать и дочь видели барона лишь утром за завтраком и вечером во время обеда, если все обедали дома, что случалось только в приемные дни баронессы. Но к концу второго месяца барон, весь во власти чувства, сходного с тоской по родине, пожираемый лихорадочным нетерпением и удивленный бессилием миллионов, настолько исхудал, настолько казался больным, что Дельфина втайне надеялась стать вдовой. Она лицемерно жалела мужа и заставила дочь сидеть дома. Она засыпала мужа вопросами; он отвечал, как отвечают англичане, страдающие сплином, то есть почти не отвечал. По воскресеньям Дельфина Нусинген давала званый обед. Она избрала этот день для приемов, заметив, что в высшем свете в воскресенье никто не посещает театра, и этот вечер у всех обычно свободен. От наплыва купечества и мещанства воскресный день в Париже стал настолько суетлив, насколько он чопорен и скучен в Лондоне. И вот баронесса пригласила к обеду знаменитого Деппена, чтобы посоветоваться с ним против желания больного, ибо Нусинген говорил, что чувствует себя превосходно. Келлер, Растиньяк, де Марсе, дю Тийе, все друзья дома дали понять баронессе, что такой человек, как Нусинген, не должен умереть внезапно: его огромные дела обязывали к особой осторожности, и надо было точно знать, как поступить. Эти господа были приглашены к обеду, так же как граф де Гондревиль, тесть Франсуа Келлера, кавалер д'Эспар, де Люпо, доктор Бьяншон, любимый ученик Деппена, Боденор с супругой, граф и графиня де Монкорне, Блонде, мадемуазель де Туш и Копти, наконец, Люсьен де Рюампре, к которому Растиньяк в продолжение пяти лет выказывал живейшую дружбу, но *согласно приказу*, выражаясь казенным языком.

– От него мы легко не отделаемся, – сказал Блонде Растиньяку, увидев входящего в гостиную Люсьена, прекрасного, как никогда, и восхитительно одетого.

– Предпочитаю быть ему другом, ибо он опасен, – сказал Растиньяк.

– Он? – сказал де Марсе. – Опасным, по-моему, могут быть только люди, положение которых ясно, а его положение скорее не атаковано, чем не атакуемо! На какие средства он живет? Откуда вся эта роскошь? У него, я уверен, тысяч шестьдесят долгу.

– Он нашел богатого покровителя, испанского священника, чрезвычайно к нему расположенного, – отвечал Растиньяк.

– Он женится на старшей дочери герцогини де Гранлье, – сказала мадемуазель де Туш.

– Да, – сказал кавалер д'Эспар, – но прежде он должен приобрести землю с доходом в тридцать тысяч франков как твердое обеспечение капитала, которое он предьявит своей нареченной. На это ему нужен миллион, а миллионы не валяются под ногами какого бы то ни было испанца.

– Чересчур много! Ведь Клотильда так дурна собою, – сказала баронесса. Г-жа Нусинген усвоила манеру называть девицу де Гранлье уменьшительным именем, словно она сама, урожденная Горио, была принята в этом обществе.

– Ну нет, – возразил дю Тийе, – для нас дочь герцогини не бывает дурна собою, особенно если она приносит титул маркиза и дипломатический пост. Но главное препятствие к этому браку – страстная любовь госпожи де Серизи к Люсьену; она, вероятно, очень тратится на него.

– Меня не удивляет более, что Люсьен так озабочен; госпожа де Серизи, конечно, не даст ему миллиона для женитьбы на мадемуазель де Гранлье. Он, верно, не знает, как выйти из положения, – заметил де Марсе.

– Да, но мадемуазель де Гранлье его обожает, – сказала графиня де Монкорне, – и с помощью этой молодой особы, возможно, условия будут облегчены.

– А как быть ему с сестрой и зятем из Ангулема? – спросил кавалер д'Эспар.

– Его сестра богата, – отвечал Растиньяк, – и он теперь именует ее госпожою Сешар де Марсак.

– Если и возникнут трудности, так ведь он красавец, – сказал Бьяншон, поднимаясь, чтобы поздороваться с Люсьеном.

– Здравствуйте, дорогой друг, – сказал Растиньяк, обмениваясь с Люсьеном горячим рукопожатием.

Де Марсе поклонился холодно в ответ на поклон Люсьена. В ожидании обеда Деппен и Бьяншон, подшучивая над бароном Нусингеном, все же его осмотрели и признали, что заболевание вызвано только душевными переживаниями; но никто не мог отгадать истинной причины, настолько казалось невозможным, чтобы этот прожженный биржевой делец влюбился. Когда Бьяншон, не находя иного объяснения дурному самочувствию банкира, кроме любви, намекнул об этом Дельфине Нусинген, она недоверчиво улыбнулась: ей ли было не знать своего мужа! Однако ж после обеда, как только все вышли в сад, ближайшие друзья, узнав со слов Бьяншона, что Нусинген, видимо, влюблен, окружили барона, желая выведать тайну этого необыкновенного события.

– Знаете, барон, вы заметно похудели, – сказал ему де Марсе. – И подозревают, что вы изменили правилам финансиста.

– *Никогда!* – сказал барон.

– Но это так, – возразил де Марсе. – Утверждают, что вы влюблены.

– *Ферно!* – жалобно отвечал Нусинген. – *Вздыхаю об отна неизфестни.*

– Вы влюблены! Вы? Вы рисуетесь! – сказал кавалер д'Эспар.

– *Быть люблен в мой возраст, я знаю карашо, что очень глупо, но что делать? Шабаш!*

– В светскую даму? – спросил Люсьен.

– Но барон может так худеть только от любви безнадежной, – сказал де Марсе. – А у него есть на что купить любую из женщин, которые желают или могут продаться.

– *Я не знаю эта женщины*, – отвечал барон. – *Могу вам это говорить, раз матам Нюсеншан в гостиной. Я не зналь, что такой люпоф! Люпоф!.. Я думал, что потому я и худею.*

– Где вы встретили эту юную невинность? – спросил Растиньяк.

– *В карет, в полночь, в лесу Венсен.*

– Приметы? – сказал де Марсе.

– *Жабо белый газ, платье роз, перелин белый, вуаль белый, лицо чисто пиплейски! Глаза – огонь, цвет кожа восточни...*

– Вам пригрезилось! – сказал, улыбаясь, Люсьен.

– *Ферно! Я спаль, как сундук, сундук польни...* – и добавил, спохватившись, – *это случилось в обратни путь из деревня, после обет у мой труг...*

– Она была одна? – спросил дю Тийе, прерывая банкира.

– *Та*, – сказал барон сокрушенно, – *отна; гайдук зати карет и горнична.*

– Глядя на Люсьена, можно подумать, что он ее знает, – вскричал Растиньяк, уловив улыбку любовника Эстер.

– Кто же не знает женщин, способных отправиться в полночь навстречу Нусингену? – сказал Люсьен, увертываясь.

– Стало быть, эта женщина не бывает в свете, – предположил кавалер д'Эспар, – иначе барон узнал бы гайдука.

– *Я не видаль нигде эта женщины*, – отвечал барон, – *и вот уже сорок тней, как я искаль ее с полицией и не нашель.*

– Пусть она лучше стоит вам несколько сот тысяч франков, нежели жизни, – сказал Депен, – в вашем возрасте страсть без удовлетворения опасна, вы можете умереть.

– *Та*, – сказал барон Депену, – *что кушаю, не идет мне впрок, воздух для меня – смерть! Я пошел в лес Венсен, чтобы видеть тот мест, где ее встретиль!.. О Поже мой! Я не занималься последний займ, я просиль мой сопрат, чтобы жалель меня. Мильон даю! Желай знать эта женщины. Я выиграю, потому больше не бываю на биржа... Спросить тю Тиле.*

– Да, – отвечал дю Тийе, – у него отвращение к делам, он сам на себя не похож. Это признак смерти!

– *Признак люпоф*, – продолжал Нусинген. – *Для меня это все отно!*

Наивность старика, который уже не походил более на хищника и впервые в жизни познал нечто более святое и более сокровенное, нежели золото, тронула эту компанию пресыщенных людей; одни обменялись улыбками, другие наблюдали за Нусингеном, и в их глазах читалась мысль: «Такой сильный человек и до чего дошел!..» Затем все вернулись в гостиную, обсуждая этот случай. И точно, то был случай, способный произвести сильнейшее впечатление. Г-жа Нусинген, как только Люсьен открыл ей тайну банкира, рассмеялась; но, услышав, что жена смеется над ним, барон взял ее за руку и увел в амбразуру окна.

– *Матам*, – сказал он ей тихо, – *говориль я случайно слово насмешки на вашу страсть? Почему ви насмехайтесь? Карош жена должен помогать мужу спасать положень, а не насмехаться, как ви...*

По описанию старого банкира Люсьен узнал в незнакомке свою Эстер. Взбешенный тем, что заметили его улыбку, он, как только был подан кофе и завязался общий разговор, скрылся.

– Куда же исчез господин де Рюбампре? – спросила баронесса Нусинген.

– Он верен своему девизу: «*Quid me continebit?*» – отвечал Растиньяк.

– Что означает: «Кто может меня удержать?» или: «Я неукротим», предоставляю вам выбор, – прибавил де Марсе.

– Люсьен, слушая рассказ барона о незнакомке, невольно улыбнулся; я думаю, что он ее знает, – сказал Орас Бьяншон, не подозревая опасности столь естественного замечания.

«Превосходно!» – сказал про себя банкир. Подобно всем отчаявшимся больным, он прибегал к любым средствам, подававшим хотя бы малейшую надежду, и решил установить наблюдение за Люсьеном, но поручив это не агентам Лушара, самого ловкого из парижских торговых приставов, к которому обратился недели две назад, а другим людям.

Прежде чем поехать к Эстер, Люсьен должен был посетить особняк де Гранлье и пробыть там часа два, превращавшие Клотильду-Фредерику де Гранлье в счастливейшую девушку Сен-Жерменского предместья. Осторожность, отличающая поведение этого молодого честолюбца, подсказала ему, что следует немедленно сообщить Карлосу Эррера о том впечатлении, которое произвела его невольная улыбка, когда он, слушая барона Нусингена, в изображении незнакомки узнал портрет Эстер. Любовь барона к Эстер и его намерение направить полицию на поиски неизвестной красавицы были событиями достаточно значительными, чтобы осведомить о них человека, который нашел убежище под покровом сутаны, как некогда преступники обретали его под кровлей храма. С улицы Сен-Лазар, где в то время жил банкир, до улицы Сен-Доминик, где находился особняк де Гранлье, дорога вела Люсьена мимо его дома на набережной Малакэ. Когда Люсьен вошел, его грозный друг дымил своим *молитвенником*, короче говоря, курил трубку, перед тем как лечь спать. Этот человек, скорее странный, нежели чужестранный, в конце концов отказался от испанских сигарет, находя их недостаточно крепкими.

– Дело принимает серьезный оборот, – заметил испанец, когда Люсьен ему все рассказал. – Барон в поисках девчурки прибегнет к услугам Лушара, а тот, конечно, сообразит, что надо пустить ищеек по твоим следам, и тогда все откроется! Мне едва достанет ночи и утра, чтобы подтасовать карты для партии, которую я хочу сыграть с бароном, ибо прежде всего я должен ему доказать бессилие полиции. Когда наш хищник потеряет всякую надежду найти овечку, я берусь продать ее за столько, во сколько он ее ценит...

– Продать Эстер? – вскричал Люсьен, первый порыв у которого всегда был прекрасен.

– Ты что? Забыл о нашем положении? – вскричал Карлос Эррера.

Люсьен опустил голову.

– Денег нет, – продолжал испанец, – а шестьдесят тысяч франков долга надо платить! Если ты хочешь жениться на Клотильде де Гранлье, ты должен купить землю, чтобы обеспечить эту дурнушку на случай твоей смерти, а на это нужен миллион. Так вот, Эстер – та лакомая дичь, за которой я заставлю гоняться этого хищника, покуда не выжму из него миллион. Это моя забота.

– Эстер никогда не согласится.

– Это моя забота.

– Она умрет.

– Это забота похоронной конторы. А если и так? – вскричал этот дикий человек, обрывая, по своему обыкновению, лирические жалобы Люсьена. – Сколько генералов умерло в расцвете лет за императора Наполеона? – спросил он у Люсьена после короткого молчания. – Женщины всегда найдутся! В тысяча восемьсот двадцать первом году Корали тебе казалась несравненной. И все же встретила Эстер. После этой девицы появится... знаешь кто?.. Неизвестная женщина! Да, прекраснейшая из женщин, и ты станешь искать ее в столице, где зять герцога де Гранлье будет посланником и представителем короля Франции... Ну а тогда, скажи-ка, неразумное дитя, умрет ли от этого Эстер? Наконец, разве не может муж мадемуазель де Гранлье сохранить Эстер? Впрочем, предоставь мне действовать; не на тебе лежит скучная обязанность думать обо всем; это моя забота. Однако ж тебе придется недели две обойтись без Эстер и без поездок на улицу Тетбу. Ну-ка, ухватись за свой якорь спасения, поворкуй да получше разыграй роль; подложи тайком Клотильде пламенное послание, которое ты утром сочинил, и принеси мне от нее еще тепленький ответ! Строчка письма, она вознаграждает себя за свои лишения: это мне подходит! Ты застанешь Эстер немножко опечаленной, но прикажи ей повиноваться. Дело идет о нашей ливрее добродетели, о наших плащах почтенности, о ширме, за

которой великие люди прячут свои гнусности... Дело идет о моем прекрасном я – о тебе, на которого не должна пасть ни малейшая тень. Случай послужил нам скорее, нежели моя мысль: вот уже два месяца, как она работает вхолостую.

Бросая одно за другим эти страшные слова, звучащие как пистолетные выстрелы, Карлос Эррера одевался для выхода из дому.

– Ты, как видно, рад! – вскричал Люсьен. – Ты никогда не любил бедную Эстер и страстно ждешь случая отделаться от нее.

– Тебе никогда не надоедало любить ее, не правда ли?.. Ну а мне никогда не надоедало ее ненавидеть. Но разве я не действовал всегда так, точно был искренне привязан к этой девушке? Между тем я держал ее жизнь в своих руках... с помощью Азии! Несколько ядовитых грибков в рагу, и все было бы кончено... Однако ж мадемуазель Эстер живет!.. Она счастлива!.. Знаешь почему?.. Потому что ты ее любишь! Не прикидывайся ребенком. Вот уже четыре года, как мы ожидаем такого случая. Как он сейчас обернется? За нас или против нас?.. Так вот, надобно обнаружить нечто большее, чем талант, чтобы ошипать птицу, посланную нам судьбой: как и в любой игре, в этой рулетке есть счастливые и несчастные ставки. Знаешь, о чем я думал, когда ты вошел?

– Нет...

– Выдать себя, как в Барселоне, за наследника какой-нибудь старухи святоши, при помощи Азии...

– Преступление?

– У меня нет другого средства, чтобы упрочить твоё счастье! Кредиторы зашевелились. Что станет с тобой, если ты попадешься в лапы судебного исполнителя и тебя выгонят из дома де Гранлье? Тут-то и настанет час расплаты с дьяволом.

Карлос Эррера изобразил жестом самоубийство человека, бросающегося в воду, и затем остановил на Люсьене пристальный и пронизывающий взгляд, подчиняющий слабые души людям сильной воли. Этот завораживающий взгляд, пресекавший всякое сопротивление, обозначал, что Люсьен и его советчик связаны не только тайной жизни и смерти, но и чувствами, которые настолько же превосходили обычные чувства, насколько этот человек был выше своего презренного положения.

Принужденный жить вне общества, доступ в которое был навсегда закрыт для него законом, истощенный пороком и ожесточенный лютой борьбой, но одаренный огромной душевной силой, не дававшей ему покоя, низкий и благородный, безвестный и знаменитый одновременно, одержимый лихорадочной жаждой жизни, он возродился в изящном теле Люсьена, душой которого он овладел. Он сделал его своим представителем в человеческом обществе, передал ему свою стойкость и железную волю. Люсьен был для него больше, чем сын, больше, чем любимая женщина, больше, чем семья, больше, чем жизнь, – он был его мстителью; и так как сильные души скорее дорожат чувством, чем существованием, он связал себя с ним нерасторжимыми узами.

Встретив Люсьена в минуту, когда поэт в порыве отчаяния был готов на самоубийство, он предложил ему сатанинский договор, в духе тех, что встречаются лишь в романах приключений; однако опасная возможность таких договоров не раз была подтверждена в уголовных судах знаменитыми судебными драмами. Бросив к ногам Люсьена все утехи парижской жизни, уверив юношу, что надежда на блестящую будущность еще не потеряна, он обратил его в свою вещь. Впрочем, никакая жертва не была тяжела для этого загадочного человека, если речь касалась его второго я. Вопреки сильному характеру, он проявлял удивительную слабость к прихотям своего любимца, которому в конце концов доверил и все тайны. Как знать, не послужило ли это духовное сообщничество последним связующим их звеном? В тот день, когда была похищена Торпиль, Люсьен узнал, на каком страшном основании покоится его счастье.

Под сутаной испанского священника скрывался Жак Коллен, знаменитый каторжник, который лет десять назад жил под мещанским именем Вотрена в пансионе Воке, где столовались Растиньяк и Бьяншон. Жак Коллен, по прозвищу *Обмани-Смерть*, сбежавший из Рошфора, как только его туда водворили, последовал примеру пресловутого графа де Сент-Элен, но избежав промахов, допущенных Коньяром в его смелом поступке. Надеть на себя личину честного человека и продолжать жизнь каторжника – такова была задача, оба условия которой были чересчур противоречивы, чтобы не привести к роковой развязке, тем более в Париже; ибо, поселившись в какой-либо семье, преступник удесятерит опасность подобного обмана. К тому же, чтобы отвести от себя всякие подозрения, не следует ли поставить себя выше повседневных житейских интересов? Светский человек подвержен многим случайностям, редко угрожающим тому, кто не соприкасается с светом. Поэтому сутана – самая надежная маскировка, когда дополнением к ней служит примерная, уединенная и мирная жизнь. «Итак, я буду священником», – сказал себе этот гражданский мертвец, упорно желавший возродиться в новом социальном облике и удовлетворить страсти, столь же необычные, как он сам. Гражданская война, зажженная в Испании конституцией 1812 года, – а именно оттуда явился этот человек действия, – доставила ему возможность тайно убить в засаде настоящего Карлоса Эррера. Побочный сын вельможи, брошенный отцом еще в детстве, не знавший, кто была та женщина, которой он обязан своим рождением, этот священник имел дипломатическое поручение во Францию от короля Фердинанда VII, будучи ему рекомендован неким епископом. Этот епископ, единственный человек, принимавший участие в Карлосе Эррера, умер во время путешествия этой добровольной жертвы церкви из Кадикса в Мадрид и из Мадрида во Францию. Обрадованный встречей с личностью, столь для него полезной и при столь благоприятных для него условиях, Жак Коллен изранил себе спину, чтобы уничтожить роковое клеймо, и с помощью химических реактивов изменил лицо. Преобразившись таким образом перед трупом священника, прежде чем уничтожить его останки, он сумел придать себе некоторое сходство со своим двойником. Желая завершить это превращение, почти столь же волшебное, как превращение дряхлого дервиша из арабской сказки, который при помощи магических слов мог вселиться в тело юноши, этот каторжник, уже изъяснявшийся по-испански, обучился латыни в той мере, в какой этот язык должен быть известен андалузскому священнику. Казначей трех каторг, Коллен распоряжался вкладами, доверенными его признанной, хотя и вынужденной, честности: между такого рода пайщиками за недостачу расплачиваются ударом кинжала. К этому основному капиталу он присоединил деньги, данные епископом Карлосу Эррера. Перед тем как покинуть Испанию, он сумел овладеть сокровищами одной барселонской святоши, покаявшейся в совершенном ею убийстве: он отпустил ей грехи, обещав вернуть по принадлежности деньги, добытые преступным путем и послужившие источником ее благополучия. Став священником, на которого возложено тайное поручение, обещавшее ему самое высокое покровительство в Париже, Жак Коллен решил ничем не опорочить присвоенный им сан и отдался случайностям своего нового существования; тогда-то, по пути из Ангулема в Париж, он и встретил Люсьена. Юноша показался лжесвященнику превосходным орудием для достижения власти; он спас его от самоубийства, сказав: «Предайтесь священнослужителю, как предаются дьяволу, и у вас будут все условия для лучшей участи. Ваша жизнь потечет как сон, и худшим пробуждением будет смерть, а вы ее искали...» Союз двух существ, которым суждено было слиться воедино, покоился на этой прочной основе, которую, впрочем, Карлос Эррера еще более укрепил, вовлекая Люсьена в сообщничество. Одаренный талантом растления, он развратил совесть Люсьена, то ввергая его в жестокую нужду, то извлекая из нее ценой его молчаливого согласия на совершение дурных или бесчестных дел; однако в глазах света Люсьен всегда оставался незапятнанным, честным, благородным. Люсьен олицетворял собою все, что есть самого изысканного в высшем обществе, в тени которого хотел жить обманщик. «Я – автор, ты – моя драма; если ты провалишься, освистан буду я», – сказал он ему в тот день, когда счел нуж-

ным разоблачить перед ним свой кощунственный маскарад. Карлос шел осторожно от признания к признанию, соразмеряя степень их низости со значением своих удач и нуждами Люсьена. Недаром Обмани-Смерть открыл последнюю тайну тогда лишь, когда привычка к парижским удовольствиям, успех и удовлетворенное тщеславие подчинили ему тело и душу слабовольного поэта. Там, где некогда Растиньяк, искушаемый этим демоном, устоял, Люсьен уступил, потому что он был более искусно впутан в игру, а главное, опьянен счастьем от сознания, что завоевал высокое положение в обществе. Зло, поэтический образ которого именуется Дьяволом, обратило против этого женственного мужчины свои самые неотразимые соблазны и баловало его своей щедростью, вначале требуя взамен лишь немногого. Главным козырем Карлоса Эррера было сохранение пресловутой вечной тайны, обещанное Тартюфом Эльвире. Повторные доказательства полной преданности, в духе той, что питал Сеид к Магомету, довершили ужасное дело порабощения Люсьена Жаком Колленом. К этому времени Эстер и Люсьен не только проглотили все вклады, доверенные безукоризненной честности этого банкира каторги, который ради них подвергался страшной опасности, ибо у него могли спросить отчет в этих суммах, но денди, обманщик и куртизанка еще больше вошли в долги. И в ту минуту, когда Люсьен был так близок к цели, малый камушек, попавшийся под ногу одному из этих трех существ, мог бы обрушить волшебное здание счастья, столь дерзко воздвигнутое. На бале в Опере Растиньяк узнал Вотрена из пансиона Воке, но понял, что нескромность грозит ему смертью; поэтому-то любовник г-жи Нусинген, как и Люсьен, встречаясь взглядами, таили под видимостью дружбы взаимный страх. В минуту опасности Растиньяк, конечно, с величайшим удовольствием доставил бы повозку, чтобы отправить Обмани-Смерть на эшафот. Каждому теперь понятна мрачная радость Карлоса, когда он, узнав о любви барона Нусингена, мгновенно сообразил, какую выгоду человек его закала может извлечь из бедной Эстер.

– Э-ге-ге! – сказал он Люсьену. – Дьявол покровительствует своему слугителю.

– Ты куришь, сидя на бочке с порохом.

– *Incedo per ignes*⁹, – отвечал Карлос, улыбаясь. – Таково мое ремесло.

К середине прошлого века род де Гранлье распался на две ветви: одна ветвь – герцогский род, обреченный на угасание, поскольку у нынешнего герцога были лишь дочери; вторая – виконты де Гранлье, которым предстояло унаследовать титул и герб старшей ветви. Герцогская ветвь носит *на червлени поля три золотых секиры, или боевых топора, поперек щита* со знаменитым *Saveo pop timeo!*¹⁰ – девизом, в котором вся история этого рода.

Щит герба виконта расчленен, как у Наварренов: *на червлени поля золотая зубчатая перевязь поперек щита, увенчанного рыцарским шлемом*, с девизом: «*Великие дела, великий род!*» У нынешней виконтессы, вдовствующей с 1813 года, были сын и дочь. Хотя она вернулась из эмиграции почти разоренная, все же благодаря преданности своего поверенного де Дервиля она оказалась владелицей довольно значительного состояния.

Герцог и герцогиня де Гранлье, возвратившиеся во Францию в 1804 году, были осыпаны милостями императора; Наполеон I, при дворе которого они состояли, вернул во владение рода де Гранлье их поместья, числившиеся в палате государственных имуществ, с доходом около десяти тысяч ливров. Из всех вельмож Сен-Жерменского предместья, позволивших Наполеону обольстить себя, только герцог и герцогиня (из старшей ветви Ажуда, состоящей в родстве с Браганцами) не отреклись ни от императора, ни от его благодеяний. Людовик XVIII оценил их верность, тогда как Сен-Жерменское предместье именно ее-то и поставило в вину Гранлье; но, может быть, Людовик XVIII желал этим лишь подразнить своего августейшего брата. Говорили о возможности брака молодого виконта де Гранлье и Мари-Атенаис, младшей дочери герцога, которой тогда исполнилось девять лет. Сабина, предпоследняя дочь, после Июльской револю-

⁹ Шествую среди огня (*лат.*).

¹⁰ Остерегаюсь, но не страшусь! (*лат.*)

ции вышла замуж за барона дю Геник. Жозефина, третья дочь, стала г-жою д'Ажуда-Пинто, когда маркиз потерял первую жену, урожденную де Рошфид. Старшая ушла в монастырь в 1822 году. Вторая дочь, Клотильда-Фредерика, в ту пору в возрасте двадцати семи лет, была серьезно увлечена Люсьеном де Рюампре.

Излишне спрашивать, какими чарами покорял воображение Люсьена особняк герцога де Гранлье, один из лучших особняков на улице Сен-Доминик; всякий раз, когда огромные ворота, покачиваясь на своих петлях, распахивались, чтобы пропустить его кабриолет, он испытывал чувство тщеславного удовлетворения, о котором говорил Мирабо. «Пусть мой отец был простым аптекарем в Умо, я все же здесь принят...» – такова была его мысль.

Стало быть, помимо своего союза с лжесвященником, он пошел бы и на многие другие преступления ради того, чтобы за ним осталось право всходить по ступеням подъезда, чтобы слышать, как о нем докладывают: «Господин де Рюампре!» – в большой гостиной в стиле Людовика XIV, отделанной в ту же эпоху, по образцу гостиных Версаля, где собиралось избранное общество, *сливки* Парижа, так называемый *Малый двор*.

Благородная португалка, которая не любила выходить из дому, большую часть времени проводила в обществе Шолье, Наварренов, Ленонкуров, живших неподалеку от нее. Красавица баронесса де Макюмер (урожденная Шолье), герцогиня де Мофриньез, г-жа де Кан, мадемуазель де Туш, находившаяся в родстве с Гранлье, которые были родом из Бретани, часто навещали ее, отправляясь на бал или возвращаясь из Оперы. Виконт де Гранлье, герцог де Реторе, маркиз де Шолье, который в будущем должен был стать герцогом де Ленонкур-Шолье, его жена Мадлена де Морсоф, внучка герцога де Ленонкура, маркиз д'Ажуда-Пинто, князь де Блэмон-Шоври, маркиз де Босеан, видам де Памье, Ванденесы, старый князь де Кадиньян и его сын герцог де Мофриньез были завсегдатаями этого величественного салона, где все дышало воздухом двора, где манеры, тон, остроумие соответствовали благородному происхождению хозяев, широко открытый аристократический дом которых заставил в конце концов забыть об их угодничестве перед Наполеоном.

Старая герцогиня д'Юкзель, мать герцогини де Мофриньез, была оракулом этого салона, куда г-жа де Серизи, хотя и урожденная де Ронкероль, никак не могла проникнуть.

Госпожа де Мофриньез, упробив мать покровительствовать Люсьену, предмету своей необузданной страсти за последние два года, открыла перед ним двери дома де Гранлье, и обольстительный поэт удержался там благодаря влиянию придворного духовенства и покровительству парижского архиепископа. Все же он удостоился чести быть представленным герцогине лишь после того, как королевским указом ему были возвращены имя и герб рода де Рюампре. Герцог де Реторе, кавалер д'Эспар и еще некоторые из чувства зависти время от времени настраивали против него герцога де Гранлье, рассказывая анекдоты из прежней жизни Люсьена; но набожная герцогиня, уже окруженная князьями церкви, и Клотильда де Гранлье поддерживали молодого человека. Впрочем, причины неприязни герцога Люсьен отнес на счет своего приключения с г-жою де Баржетон, ставшей графиней Шатле. Чувствуя настоятельную необходимость войти в столь влиятельную семью и следуя внушениям своего домашнего советчика, который рекомендовал ему обольстить Клотильду, Люсьен выказывал мужество выскочки: он стал появляться там раз пять в неделю, он мило проглатывал колкости завистников, выдерживал презрительные взгляды, остроумно отвечал на злые насмешки. В конце концов его постоянство, его очаровательные манеры, его любезность обезоружили излишнюю щепетильность и ослабили препятствия. По-прежнему сохраняя наилучшие отношения с герцогиней де Мофриньез, пламенные записки которой, писанные ею в разгаре страсти, хранились у Карлоса Эррера, идол г-жи де Серизи, желанный гость мадемуазель де Туш, Люсьен блаженствовал, посещая эти три дома, но он соблюдал величайшую осторожность в своих связях, памятуя о наставлениях своего испанца.

«Нельзя уделять внимание многим домам одновременно, – говорил его домашний советчик. – Кто бывает всюду, тот нигде не встречает живого интереса к своей особе. Знать покровительствует лишь тому, кто соревнуется с их мебелью, кого они видят каждодневно, кто сумеет стать для них столь же необходимым, как удобный диван».

Люсьен привык рассматривать салон де Гранлье как некое поле битвы, и он приберегал свое остроумие, шутки, светские новости и обходительность салонного любезника для тех вечеров, которые он проводил в этом доме. Вкрадчивый, ласковый, он угождал маленьким слабостям г-на де Гранлье, ибо знал от Клотильды, какие рифы надобно обходить. Клотильда, которая прежде завидовала счастью герцогини де Мофриньез, страстно влюбилась в Люсьена.

Люсьен, оценив все преимущества подобного союза, разыгрывал роль влюбленного, как разыграл бы ее в недавнее время Арман, первый любовник Французской комедии. Он писал Клотильде письма, бесспорно представлявшие собою подлинные образцы высокого стиля, и Клотильда отвечала, состязаясь с ним в мастерстве выражать на бумаге свою неистовую любовь, ибо иначе она любить не могла. По воскресеньям Люсьен слушал мессу у Фомы Аквинского; он выдавал себя за ревностного католика и произносил в защиту монархии и религии прочувствованные речи, вызывавшие восхищение. Сверх того он писал в газетах, представляющих интересы Конгрегации, превосходные статьи, не желая ничего за них получать и скромно подписывая их буквой «Л». Он выпускал политические брошюры, нужные королю Карлу X или придворному духовенству, не требуя ни малейшего вознаграждения. «Король, – говорил он, – так много для меня сделал, что я ему обязан жизнью». Несколько дней уже шла речь о назначении Люсьена личным секретарем премьер-министра, но г-жа д'Эспар подняла такую кампанию против Люсьена, что фактотум Карла X колебался произнести решительное слово. Дело было не только в том, что положение Люсьена казалось недостаточно ясным и, по мере того как поэт возвышался, вопрос: «На какие средства он живет?» – все чаще слетал с уст, требуя ответа, но вдобавок и в том, что любопытство благожелательное, как и любопытство враждебное, переходя от расследования к расследованию, открывало все новые уязвимые места в панцире честолюбца. Клотильда де Гранлье служила ему невольным шпионом у отца и матери. За несколько дней до того она увлекла Люсьена в нишу окна, чтобы наедине побеседовать с ним и, кстати, сообщить, на чем основываются возражения ее семьи против их брака. «Приобретите поместье, оцененное в миллион, и вы получите мою руку, таков был ответ моей матери», – сказала Клотильда. «Потом они спросят тебя, как ты добыл эти деньги», – сказал Карлос Люсьену, когда Люсьен передал ему это якобы последнее слово. «Мой шурин, по-видимому, составил состояние, – заметил Люсьен, – мы будем иметь в его лице ответственного издателя». «Итак, недостает только миллиона! – вскричал Карлос. – Я подумаю об этом».

Чтобы точнее обрисовать положение Люсьена в особняке де Гранлье, достаточно заметить, что он там ни разу не обедал. Ни Клотильда, ни герцогиня д'Юкзель, ни г-жа де Мофриньез, по-прежнему благоволившая к Люсьену, никто из них не мог добиться от герцога этой милости, такое недоверие питал старый вельможа к человеку, которого он называл «господин де Рюампре». Этот особый оттенок обращения, отмеченный всеми завсегдатаями салона, постоянно ранил самолюбие Люсьена, давая ему понять, что здесь его только терпят. Свет вправе быть требовательным: он так часто бывает обманут! Никакое искусство не в силах упрочить положение человека, который желает быть на виду в Париже, не имея солидного состояния и определенного занятия. Вопрос: «На какие средства он живет?» – приобретал особую силу по мере возвышения Люсьена. Он был вынужден сказать у г-жи де Серизи, при помощи которой он снискал расположение генерального прокурора Гранвиля и одного из министров, графа Октава де Бована, председателя верховного суда: «Я страшно задолжал».

Въезжая во двор особняка, где он надеялся найти узаконенное удовлетворение своему тщеславию, Люсьен, вспоминая слова Обмани-Смерть, говорил себе с горечью: «Чувствую, как все колеблется у меня под ногами!» Он любил Эстер, и он желал назвать мадемуазель

де Гранлье своей женой! Удивительное положение! Надо было продать одну, чтобы получить другую. Только один человек мог совершить подобный торг, не затронув чести Люсьена, и этот человек был лжеиспанец; не надлежало ли им, как одному, так и другому, быть поосторожней друг с другом? Подобные договоры, в которых каждая из сторон по очереди то властвует, то подчиняется, дважды не заключают.

Люсьен отогнал сомнения, омрачавшие его лицо, и вошел веселый, блистательный в гостиную особняка де Гранлье. Окна были растворены, благоухание сада наполняло комнату, жардиньерка, занимавшая середину гостиной, казалась прелестной цветочной пирамидой. Герцогиня, сидевшая на софе в уголке комнаты, разговаривала с герцогиней де Шолье. Несколько женщин составляли группу, примечательную тем, что каждая из них по-своему старалась выразить притворное горе. В свете чужое несчастье или страдание не вызывает сочувствия, там все лишь одна видимость. Мужчины прохаживались в гостиной или в саду. Клотильда и Жозефина хлопотали возле чайного стола. Видам де Памье, герцог де Гранлье, маркиз д'Ажуда-Пинто, герцог де Мофриньез играли в вист (sic!) в другом конце комнаты. Люсьен, о котором доложили, войдя в гостиную, направился к герцогине, чтобы поздороваться с ней, и сразу же спросил о причине грусти, читавшейся на ее лице.

– Госпожа де Шолье получила горестное известие: ее зять, барон де Макюмер, в прошлом герцог де Сория, умер. Молодой герцог де Сория и его жена, выехавшие в Шантеплер, чтобы ухаживать за братом, написали об этом печальном событии. Луиза в страшном отчаянии.

– Женщина только однажды в жизни бывает любима так, как была любима своим мужем Луиза, – сказала Мадлена де Морсоф.

– Она осталась богатой вдовой, – заметила старая герцогиня д'Юкзель, глядя на Люсьена; но его лицо было непроницаемо.

– Бедная Луиза! – сказала г-жа д'Эспар. – Как я понимаю ее и жалею.

Маркиза д'Эспар приняла задумчивую позу, изображая собой женщину с чувствительной душой. Хотя Сабине де Гранлье было всего десять лет, она понимающе посмотрела на мать, но насмешливый огонек ее глаз был погашен строгим взглядом маркизы. Вот что называется хорошо воспитать детей!

– Если моя дочь и перенесет этот удар, – сказала г-жа де Шолье, выказывая всем своим видом нежную материнскую озабоченность, – я все же не могу быть спокойна за ее будущее. Луиза так романтична.

– Право, я не пойму, – заметила старая герцогиня д'Юкзель, – от кого наши дети унаследовали эту черту?

– Трудно сочетать в наши дни чувство и условности света, – сказал находившийся тут старый кардинал.

Люсьен, которому нечего было сказать, направился к чайному столу обменяться приветствиями с девицами де Гранлье. Когда поэт отошел на несколько шагов, маркиза д'Эспар наклонилась к герцогине де Гранлье и шепнула ей на ухо:

– И вы уверены, что он очень любит вашу милую Клотильду?

Коварство этого вопроса станет очевидным, если несколькими штрихами обрисовать Клотильду. Эта девушка, лет двадцати семи на вид, в эту минуту встала из-за стола, что позволило маркизе д'Эспар насмешливым взглядом окинуть сухую, тонкую фигуру Клотильды, напоминавшую спаржу. Ни одно из вспомогательных средств, вроде излюбленных модистками пышных косынок, не могло послужить к украшению лифа, облакавшего столь плоскую грудь. Впрочем, Клотильда не трудилась скрывать свои недостатки и даже героически подчеркивала их, – она была слишком уверена в преимуществах своего имени. Она носила плотно облегающие платья, которые придавали ее фигуре строгость и четкость линий, присущих изваяниям средневековых мастеров, рельефно выступающих из глубоких ниш в старинных соборах. Клотильда была ростом в пять футов и четыре дюйма. Если позволено прибегнуть к просторе-

чью, имеющему хотя бы ту заслугу, что оно метко, я сказал бы, что она вся ушла в ноги. Из-за такого нарушения пропорций ее талия казалась безобразно короткой. Смуглостью кожи, черными жесткими волосами, густыми бровями, глазами пламенными, но уже обведенными коричневой тенью, лицом, которое в профиль напоминало серп месяца, и выпуклым лбом она была похожа на свою мать, одну из красивейших женщин Португалии, но как бывает похожа на оригинал карикатура. Природа любит подобные шутки. Часто в той или иной семье встречаешь девушку удивительной красоты, но те же черты в лице ее брата являют собою законченное уродство, хотя оба похожи друг на друга. Поджатый рот Клотильды хранил привычное презрительное выражение; поэтому ее губы, более чем какая-либо иная черта ее лица, отражали тайные движения сердца, ибо любовь сообщала им прелестное выражение, тем более привлекательное, что ее лицо, слишком смуглое, чтобы краснеть, и черные суровые глаза никогда не выдавали ее чувств. Несмотря на все эти недостатки, несмотря на доскообразную фигуру, у нее был тот величественный вид, та горделивость осанки, короче говоря, то *нечто*, что дается воспитанием и породой, что обличало в ней девушку из хорошего дома и чем, быть может, она была обязана строгости своего наряда. Она так искусно укладывала свои пышные, густые, длинные волосы, что они могли бы украшать красавицу. Ее хорошо поставленный голос звучал чарующе. Она пела восхитительно. Клотильда была из тех женщин, о которых говорят: «У нее чудесные глаза» или: «У нее прекрасный характер!» Когда к ней обращались на английский лад: «Ваша светлость», она отвечала: «Называйте меня: “Ваша тонкость”».

– Отчего бы не любить мою бедную Клотильду? – отвечала маркизе герцогиня. – Знаете, что она сказала мне вчера? «Если меня любят ради карьеры, я добьюсь, что меня полюбят ради меня самой!» Она умна и честолюбива. Некоторым мужчинам нравятся эти качества. Что касается его, моя дорогая, он прекрасен, как мечта. И если он сможет выкупить бывшие владения де Рюампре, король, из уважения к нам, вернет ему титул маркиза... Наконец, его мать последняя из Рюампре...

– Бедный мальчик, где ему взять миллион? – сказала маркиза.

– Нас это не касается, – продолжала герцогиня. – Но я уверена, что он не способен его украсть... Впрочем, мы не выдали бы Клотильду ни за интригана, ни за бесчестного человека, будь он даже красавец, будь он поэт и молод, как господин де Рюампре.

– Как поздно вы пришли, – сказала Клотильда, улыбаясь Люсьену с бесконечной нежностью.

– Да, я обедал в городе.

– Вы с некоторых пор много бываете в свете, – сказала она, скрывая улыбкой ревность и тревогу.

– В свете?.. – продолжал Люсьен. – О нет! Я всю неделю, по странной случайности, обедал у банкиров. Сегодня у Нусингена, вчера у дю Тийе, позавчера у Келлеров...

Из этого ответа можно убедиться, что Люсьен хорошо усвоил пренебрежительный тон больших бар.

– У вас много врагов, – сказала Клотильда, предлагая ему (и с какой грацией!) чашку чаю. – Отцу сказали, что у вас шестьдесят тысяч франков долгу и что вместо загородного замка вы в ближайшее время получите Сент-Пелажи. Если бы вы знали, чего мне стоят все эти наветы... Как все это угнетает меня! Не буду говорить о моих страданиях (взгляды моего отца меня ранят), но как вы сами должны страдать, если хоть какая-то доля правды...

– Не волнуйтесь из-за всякого вздора. Любите меня, как я люблю вас, и не откажите мне в доверии на несколько месяцев, – отвечал Люсьен, поставив пустую чашку на поднос чеканного серебра.

– Не показывайтесь на глаза моему отцу, он наговорит вам дерзостей, вы не стерпите, и тогда мы погибли... Эта злока, маркиза д'Эспар, сказала ему, что ваша мать была повивальной бабкой, а сестра гладильщицей...

– Мы терпели крайнюю нужду, – отвечал Люсьен, у которого на глаза навернулись слезы. – Это не клевета, но удачное злословие. Теперь моя сестра – миллионерша, а мать умерла два года назад... Эти сведения берегли на случай, если счастье сулит мне...

– Но чем вы досадили госпоже д'Эспар?

– Я имел неосторожность шутя рассказать у госпожи де Серизи, в присутствии господина де Бована и господина де Гранвиля, историю процесса, затеянного ею против своего мужа, маркиза д'Эспар, которого она желала взять под опеку; об этом по секрету мне рассказал Бьяншон. Мнение господина де Гранвиля, поддержанное Бованом и Серизи, принудило канцлера изменить свое решение. И тот и другой отступили, испугавшись *Судебной газеты*, испугавшись скандала, а в постановлении суда, которое положило конец этому страшному делу, маркизе было воздано по заслугам. Если господин де Серизи и нарушил тайну, зато я приобрел покровителей в его лице, в лице генерального прокурора и графа Октава де Бована, которым госпожа де Серизи рассказала, какой опасности они меня подвергли, позволив отгадать источник, откуда черпались их сведения, и тем самым обратив маркизу в моего смертельного врага. К тому же господин маркиз д'Эспар, считая меня виновником благополучного окончания этого гнусного процесса, поступил неосторожно, посетив меня.

– Я освобожу вас от госпожи д'Эспар, – сказала Клотильда.

– Но как? – вскричал Люсьен.

– Моя мать пригласит молодых д'Эспаров, очень милых и уже достаточно взрослых. Отец и оба сына будут превозносить вас. И я уверена, что мы больше не увидим матери...

– О, Клотильда, вы восхитительны! Если бы я не любил вас ради вас самой, я полюбил бы вас за ваш ум.

– Причина тому не мой ум, – сказала она, вкладывая в улыбку всю свою любовь. – Прощайте! Не приходите несколько дней. Когда в церкви Святого Фомы Ливийского вы увидите на моих плечах розовый шарф, знайте, что настроение моего отца переменялось. Ответное письмо приколото к спинке ваших кресел. Быть может, оно утешит вас в разлуке. Ваше письмо положите в мой платок...

Молодой особе, вне всякого сомнения, было более двадцати семи лет.

Люсьен взял фиакр в улице Планш, вышел из него на Бульварах, нанял другой близ церкви Мадлен и приказал въехать во двор одного дома на улице Тетбу.

В одиннадцать часов, войдя к Эстер, он застал ее в слезах, но нарядно одетую, какой она всегда встречала его. Она ждала своего Люсьена лежа на белом, затканном желтыми цветами атласном диване, одетая в прелестный пеньюар из индийской кисеи, отделанный вишневыми лентами, без корсета, с небрежно заколотыми волосами, в бархатных туфельках, подбитых вишневым атласом; все свечи в комнате были зажжены, кальян приготовлен. Но она не курила, незажженный прибор стоял перед нею, выдавая ее состояние. Услышав, что дверь отворяется, она отерла слезы, вскочила, подобно газели, и обвила Люсьена руками, – так ткань, подхваченная порывом ветра, обвивается вокруг дерева.

– Мы разлучаемся, – сказала она, – неужели это правда?..

– Ба! На несколько дней, – отвечал Люсьен.

Эстер выпустила Люсьена из объятий и упала на диван как подкошенная. В подобных случаях большинство женщин болтают, точно попугаи! Ах, как они вас любят!.. После пяти лет жизни с вами для них все еще длится утро любви; они не в силах расстаться, они великолепны в негодовании, в отчаянии, в страсти, в гневе, в сожалениях, в ужасе, в печали, в предчувствиях! Словом, они прекрасны, как сцена из Шекспира. Но знайте: эти женщины не любят! Когда они на самом деле таковы, какими себя изображают, короче говоря, когда они искренне любят, они поступают, как Эстер, как поступают дети, как поступает истинная любовь; Эстер не произнесла ни слова, она лежала лицом в подушках и плакала горькими слезами. Люсьен пытался приподнять Эстер и говорил ей:

– Но, девочка моя, ведь мы неразлучны... Вот как ты принимаешь короткое отсутствие после четырех счастливых лет! – И думал про себя: «Чем я мил этим девушкам?..», вспоминая, что его точно так же любила Кораля.

– Ах, мосье, вы такой красавец, – сказала Европа.

Чувства создают свой идеал красоты. Когда эта красота, столь обольстительная, сочетается с мягкостью характера, поэтичностью натуры, отличавшими Люсьена, нетрудно понять безумную страсть этих созданий, в высшей степени чувствительных к внешним дарам природы и столь наивных в своем восхищении. Эстер беззвучно рыдала, распростершись на диване, в позе неутешной скорби.

– Но, глупенькая, – сказал Люсьен, – разве ты не знаешь, что дело идет о моей жизни?..

При этих словах, сказанных Люсьеном умышленно, Эстер вскочила, как дикий зверь; распустившиеся волосы окружили, подобно листве, ее божественную фигуру. Она вперила в Люсьена пристальный взгляд.

– О твоей жизни!.. – вскричала она, всплеснув руками, как это делают девушки в минуты опасности. – Верно! Записка этого чудовища говорит о важных вещах.

Она вынула из-за пояса измятый клочок бумаги, но, заметив Европу, сказала ей: «Оставьте нас, моя милая». Когда Европа закрыла за собою дверь, она протянула Люсьену записку, только что присланную Карлосом, со словами: «Посмотри, что *он* мне пишет!»

И Люсьен прочел вслух:

– «Вы уедете завтра в пять часов утра. Вас отвезут в Сен-Жерменский лес, к одному из лесничих; он предоставит Вам комнату во втором этаже своего дома. Не покидайте этой комнаты без моего разрешения; Вы не будете ни в чем терпеть нужды. Лесничий и его жена – люди верные. Не пишите Люсьену. Не подходите к окну днем; ночью Вы можете погулять в сопровождении лесничего, ежели пожелаете. По пути туда держите занавески в карете опущенными: дело идет о жизни Люсьена.

Люсьен придет вечером проститься с Вами. Сожгите записку при нем...»

Люсьен тотчас сжег записку на огне свечи.

– Послушай, Люсьен, – сказала Эстер, выслушав письменный приказ, как преступник выслушивает смертный приговор, – я не стану тебе говорить, что люблю тебя, это было бы глупо... Любить тебя кажется мне столь же естественным, как дышать, жить. Так было все эти четыре года. В первый же день моего счастья, начавшегося с благословения загадочного существа, которое заточило меня в этих стенах, как редкого зверька в клетке, я узнала, что ты должен жениться. Женитьба – необходимое условие, чтобы устроить твою судьбу, и сохрани меня Бог препятствовать твоему счастью! Твоя женитьба – моя смерть. Но я ничем не досажу тебе; я не поступлю, как поступают гризетки; чтобы умереть, мне не понадобятся жаровня и уголь... Хватит с меня и одного раза. Как выражается Мариетта: «Повторять сие тошно!» Нет, я уйду далеко, за пределы Франции. Азия знает тайны своей родины, она обещала научить меня, как умереть спокойно. Укол, и все кончено! Прошу лишь об одном, мой обожаемый ангел: не обманывай меня. Жизнь предъявляет мне свой счет – я испытала, начиная со дня первой нашей встречи в тысяча восемьсот двадцать четвертом году и по нынешний день, столько счастья, что его достало бы на десять счастливых женских жизней. Поэтому не бойся за меня, моя сила равна моей слабости. Скажи мне: «Я женюсь». Об одном лишь прошу, будь со мною нежен при прощании, и ты никогда более не услышишь обо мне... – После этого признания в любви, такого же искреннего и простодушного, как жесты и интонации девушки, наступило короткое молчание. – Дело идет о твоей женитьбе? – спросила она, погружая блестящий, как клинок кинжала, заволаживающий взор в голубые глаза Люсьена.

– Вот уже год и шесть месяцев, как мы хлопочем о моей женитьбе, а она все еще не состоялась. – отвечал Люсьен, – и я не знаю, когда она состоится. Но дело не в этом, милая моя девочка... дело в аббате, во мне, в тебе... мы в опасности... тебя видел Нусинген...

– Да, – сказала она, – в Венсенском лесу; он, стало быть, меня узнал?..

– Нет, – отвечал Люсьен, – но он в тебя влюбился без памяти! Когда сегодня после обеда он принялся рассказывать о вашей встрече и описывать твою наружность, я невольно улыбнулся. Такая неосторожность! Ведь в кругу высшего общества я – точно дикарь среди ловушек вражеского племени. Карлос избавляет меня от труда обдумывать какие-либо дела, но он находит положение опасным. Он обещает вымотать душу из Нусингена, если Нусингену вздумается за нами шпионить, а барон вполне на это способен: он что-то говорил мне о бессилии полиции. Ты зажгла пожар в этой старой трубе, набитой сажей...

– Что намерен предпринять твой испанец? – спросила Эстер совсем тихо.

– Не знаю. Он велел мне спать спокойно, – отвечал Люсьен, не осмеливаясь взглянуть на Эстер.

– Если так, я повинуюсь с собачьей покорностью, как мне пристало при моем ремесле, – сказала Эстер и, взяв Люсьена под руку, повела его в спальню, спросив: – Хорошо ли ты отобедал, Люлю, у этого гадкого Нусингена?

– Азия такая мастерица, что за ней не угнаться ни одному повару; но, как всегда, в воскресенье обед готовил Карем.

Люсьен невольно сравнивал Эстер с Клотильдой. Любовница была так прекрасна, так неизменно обольстительна, что *пресыщение* – чудовище, пожирающее самую пламенную любовь, – еще ни разу не дало себя почувствовать. «Какая досада, – думал он, – когда жена в двух изданиях! В одном – поэзия, страсть, любовь, верность, красота, очарование...» Эстер суежилась, как обычно суеются женщины перед сном, и, напевая, порхала с места на место. Точь-в-точь колибри... «В другом – знатность, порода, почет, положение в обществе, светское воспитание!.. И никакими судьбами не соединить их воедино!..» – мысленно воскликнул Люсьен.

Поутру, проснувшись в семь часов, поэт увидел, что он один в этой очаровательной розовой с белым комнате. На его звонок вбежала фантастическая Европа.

– Что угодно мосье?

– Эстер!

– Мадам уехала без четверти пять. По приказанию господина аббата мною получено с доставкой на дом новое лицо.

– Женщина?..

– Нет, мосье, англичанка... одна из тех, что заняты на ночной поденщине; нам приказано обращаться с ней как с вашей госпожой! Что мосье собирается делать с этой клячей?.. Бедная мадам, как она плакала, садясь в карету... «Ну что ж! Так надобно!.. – воскликнула она. – Я покинула моего бедного котеночка, когда он спал, – сказала она, утирая слезы. – Ах, Европа, стоило ему взглянуть на меня или окликнуть, я с места бы не тронулась, пусть нам обоим грозила бы смерть...» Видите ли, мосье, я так люблю мадам, что не показала ей заместительницы. Не всякая горничная уберегла бы ее от такого удара!

– Стало быть, та, другая, здесь?

– Да, мосье, ведь она приехала в карете, в которой увезли мадам; и я спрятала ее в своей комнате, как приказал...

– Хороша собою?

– Как может быть хороша уличная женщина. Но играть роль ей не составит труда, ежели мосье сыграет свою, – сказала Европа, покидая комнату, чтобы привести туда мнимую Эстер.

Накануне, перед тем как лечь спать, всемогущий банкир отдал распоряжение лакею, и тот уже в семь часов утра проводил знаменитого Лушара, самого ловкого из торговых приставов, в маленькую гостиную, куда вышел барон в халате и домашних туфлях...

– *Ви насмехайтесь, ферно, надо мной!* – сказал он в ответ на поклон пристава.

– Но иначе, господин барон, я не мог поступить! Я дорожу своей должностью и, как я имел честь вам доложить, не могу вмешиваться в дела, не входящие в круг моих обязанностей. Что я вам обещал? Познакомить вас с одним из наших агентов, наиболее, как мне показалось, способных вам услужить. Но господину барону известны границы, которые существуют между людьми разных профессий... Когда строят дом, не возлагают на маляра работу столяра. Так вот, есть две полиции: полиция политическая и полиция уголовная. Агенты уголовной полиции никогда не вмешиваются в дела полиции политической, и *vice versa*¹¹. Ежели вы обратитесь к начальнику политической полиции, ему, чтобы заняться вашим делом, понадобится разрешение министра, а вы не осмелитесь объяснить это начальнику главного полицейского управления. Полицейский агент, который стал бы работать на стороне, потеряет место. Ведь уголовная полиция не менее осмотрительна, чем полиция политическая. Стало быть, никто в Министерстве внутренних дел или в префектуре шагу не сделает иначе, как только в интересах государства либо в интересах правосудия. Когда дело касается заговора или преступления – ах Боже мой! – все начальники к вашим услугам. Поймите же, господин барон, что у них есть заботы поважнее, чем полсотни тысяч парижских интрижек. Что касается нашего брата, нам не следует во что-либо вмешиваться, кроме ареста должников; мы подвергаемся большой опасности, если нарушаем чей-нибудь покой в связи с любым другим делом. Я послал вам своего человека, но предупредил вас, что я за него не отвечаю. Вы приказали ему отыскать в Париже женщину. А Контансон, не ударив палец о палец, выудил у вас тысячную ассигнацию. В Париже искать женщину, заподозренную в прогулке в Венсенский лес и по приметам похожую на всех красивых парижанок, все равно что искать иголку в сене.

– *Гонданзон* (Контансон), – сказал барон, – *должен был говорить честно, а не выудить у меня билет в тысяча франк, не так ли?*

– Послушайте, господин барон, – сказал Лушар, – хотите выложить мне тысячу экю? Я вам дам... продам один совет.

– *Стоит ли софет тысяча экю?* – спросил Нусинген.

– Меня нельзя обмануть, господин барон, – отвечал Лушар. – Вы влюблены, вы желаете отыскать предмет вашей страсти, вы сохнете по нем, как салат без воды. Вчера, – я это знаю от вашего лакея, – у вас были два врача, и они нашли, что ваше здоровье в опасности. Один только я могу свести вас с верным человеком... Черт возьми! Неужели ваша жизнь не стоит тысячи экю?

– *Прошу сказать имя этот челюфек и доферять мой щедрость!*

Лушар взял шляпу, откланялся и пошел к выходу.

– *Шертовски челюфек!* – вскричал Нусинген. – *Вернись!.. Полючай!..*

– Примите во внимание, что я продам вам всего лишь сведения, – сказал Лушар, прежде чем взять деньги. – Я укажу имя и адрес единственного человека, который может быть вам полезен; но это мастер...

– *Пошешь к шерт!* – вскричал Нусинген. – *Атин имя Ротшильд стоит тысяча экю, когда он подписан под вексель... Даю тысяча франк!*

Лушар, пронырливый человек, однако не сумевший добиться ни должности нотариуса, ни судебного исполнителя, ни казенного защитника, ни стряпчего, многозначительно поглядывал на барона.

– Для вас тысяча экю – пустяк. На бирже вы вернете их в несколько секунд, – сказал он.

– *Даю тысяча франк!* – повторил барон.

– Предложи вам золотые рудники, вы станете торговаться! – сказал Лушар, откланиваясь.

– *Я могу полючать этот адрес за билет в пятьсот франк!* – крикнул барон, приказавший лакею позвать секретаря.

¹¹ Наоборот (лат.).

Тюркаре не существует более. В наши дни и самый крупный и самый мелкий банкир стирают свои плутни на любую мелочь: искусство, благотворительность, любовь – все это для него лишь предмет торга, он готов торговаться с самим папой за отпущение грехов. Итак, слушая Лушара, Нусинген быстро сообразил, что Контансон, как правая рука торгового пристава, должен был знать адрес этого мастера шпионажа. Лушар требовал за совет тысячу эю. Контансон продаст то же самое за пятьсот франков. Столь быстрая сообразительность доказывает достаточно убедительно, что если сердце этого человека и поглощено любовью, голова его все же по-прежнему была головой биржевика.

– *Ви, сутарь мой, долъжен идти,* – сказал барон секретарю, – *к Гонданзон, шпион Лушара, торгови пристав. Надо брать экипаж, одишень бистро. И надо привозить его неметленно. Я ожидаю!.. Обратнo вам надо пройти садовой калитка, вот ключ, потому никто не долъжен видеть этот персон здесь. Провожайте гость в малый садовый пафильон. Старайтесь делать мой порушень з умом.*

К Нусингену приходили деловые люди, но он ожидал Контансона, он мечтал об Эстер, он воображал, что скоро увидит женщину, нечаянно пробудившую в нем чувства, на которые он уже не считал себя способным. И он всех выпроваживал, бормоча нечто невнятное и отделиваясь двусмысленными обещаниями. Контансон представлялся ему самым важным существом в Париже, и он поминутно выглядывал в сад. Наконец, распорядившись никого не принимать, он приказал накрыть для себя завтрак в беседке, в одном из укромных уголков сада. Необъяснимое поведение и рассеянность, проявленные самым прожженным, самым хитрым парижским банкиром, вызывали в его конторах удивление.

– Что случилось с патроном? – говорил какой-то биржевой маклер старшему конторщику.

– Никто не понимает, что с ним. Начинают тревожиться, не болен ли он? Баронесса вчера приглашала на консилиум врачей: Депплена и Бьяншона...

Однажды иностранцы пожелали видеть Ньютона, но он в тот момент был занят лечением одной из своих собак по кличке Beauty¹², которая (Beauty была сука), как известно, погубила огромный труд Ньютона, причем он лишь сказал: «Ах, Beauty, если бы ты знала, что ты натворила...» Иностранцы, уважая труды великого человека, удалились. В жизни всех величайших людей находишь какую-нибудь свою Beauty. Когда маршал Ришелье явился к Людовику XV поздравить его по случаю взятия Магона, крупнейшего военного события XVIII века, король ему сказал: «Вы слышали важную новость?.. Умер бедняга Лансмаг!..» Лансмаг был привратник, посвященный в похождения короля. Никогда парижские банкиры не узнают, чем они обязаны Контансону. Этот шпион был причиной того, что Нусинген позволил провести одно крупнейшее дело без своего прямого участия, предоставив им всю прибыль. Как крупный хищник, он мог биржевой артиллерией обстрелять любое состояние, но, как человек, он сам зависел от счастья!

Знаменитый банкир пил чай, лениво ел хлеб с маслом, обнаруживая тем самым, что зубы его давно уже не отгачиваются аппетитом, как вдруг послышался стук экипажа, остановившегося у садовой калитки. Спустя некоторое время секретарь Нусингена предстал перед ним вместе с Контансоном, которого после долгих розысков нашел в кафе Сент-Пелажи, где агент завтракал на чаевые, полученные им от должника, заключенного в тюрьму с известными, особо оплачиваемыми, послаблениями. Контансон, следует сказать, представлял собою настоящую поэму, парижскую поэму. По его виду вы тотчас же догадались бы, что Фигаро Бомарше, Маскариль Мольера, Фронтены Мариво и Лафлеры Данкура, эти великие образы дерзновения в плутовстве, изворотливости в отчаянном положении, хитрости, не складывающей оружия при любых неудачах, – все они бледнеют рядом с этим титаном ума и убожества. Если доведется

¹² Красавица (англ.).

вам в Париже встретить воплощение типического в живом существе, то это уже будет не человек, а явление! В нем будет запечатлен не отдельный момент жизни, но все его существование в целом, более того – множество существований! Обожгите трижды гипсовый бюст в печи, и вы получите некое подобие флорентийской бронзы. Так вот, неисчислимые удары судьбы, годы жесточайшей нужды, подобно троекратному обжиганию в печи, придали вид бронзы голове Контансона, опалив его лицо. Неизгладимые морщины представляли собою какие-то вековечные борозды, белесые в глубине. Это желтое лицо само было сплошной морщиной. Если бы не пучок волос на затылке, его голый безжизненный череп, напоминавший голову Вольтера, казался бы черепом скелета. Под окостенелым лбом шурились, ничего не выражая, китайские глаза, точно у кукол, выставленных в витринах чайных лавок, – застывшие в вечной улыбке искусственные глаза, притворяющиеся живыми! Нос, провалившийся, как у курносой смерти, бросал вызов Судьбе, а рот с поджатыми, точно у скряги, губами был вечно раскрыт и все же хранил тайны, подобно отверстию почтового ящика. Маленький, сухой и тощий человечек, с загорелыми руками, Контансон, невозмутимый, как дикарь, вел себя по-диогеновски; он был настолько беззаботен, что никогда и ни перед кем не заискивал. А какие комментарии к его жизни и нравам были начертаны на его одежде, для тех, кто умеет читать, это письмена!.. Чего стоили одни его панталоны!.. Панталоны понятного, черные и блестящие, точно сшитые из так называемого крепа, который идет на адвокатские мантии!.. Жилет, хоть и купленный в Тампле, но с отворотами шалью и расшитый!.. Черный с красноватым отливом фрак!.. Все это тщательно вычищено, имеет почти опрятный вид, украшено часами на цепочке из поддельного золота. Контансон щеголял сорочкой из желтого перкаля, на которой сверкала фальшивым алмазом булавка! Бархатный воротник, напоминавший железный ошейник, подпирал складки багровой, как у карайбов, кожи. Цилиндр блестел, точно атлас, но в тулье достало бы сала на две плоскости, если бы какой-нибудь бакалейщик купил ее для того, чтобы перетопить. Мало перечислить все принадлежности его туалета, надобно изобразить, сколько в них чувствовалось притязаний на франтовство! В воротнике фрака, в свежем глянце башмаков с полуотрванными подметками было что-то щегольское, чему во французском языке немислимо найти определение. Короче, окинув беглым взглядом всю эту смесь различных стилей, умный человек понял бы по внешности Контансона, что, будь он вором, а не сыщиком, его отрепья вызывали бы вместо улыбки дрожь ужаса. Судя по одежде, наблюдатель сказал бы: «Это скверный человек, он пьет, он играет, он подвержен порокам; но все же это не пьяница, не плут, не вор, не убийца». И верно, Контансон казался загадочным, покамест на ум не приходило слово «шпион». Этот человек занимался всеми неведомыми ремеслами, какие только ведомы. Тонкая улыбка его бледного рта, подмигивающие зеленоватые глаза и подергивающийся курносый нос говорили о том, что он не лишен ума. Лицо его было словно из жести, и душа, видимо, была подобна лицу. Недаром его мимику скорее можно было счесть за гримасы вынужденной учтивости, нежели за отражение чувств. Не будь он столь смешон, он наводил бы ужас. Контансон, любопытнейшая разновидность накипи, всплывающей на поверхность бурлящего парижского котла, где все в состоянии брожения, притязал быть философом. Он говорил без горечи: «У меня большие таланты, но пользуются ими даром, точно я идиот!» И он обвинял в этом одного себя, не осуждая других. Много ли найдется шпионов незлобивее Контансона? «Обстоятельства против нас, – твердил он своим начальникам, – мы могли быть хрусталем, а остались простыми песчинками, вот и все!» Цинизм его в отношении одежды таил глубокий смысл: он заботился о своем парадном костюме не больше, чем актер; он в совершенстве владел искусством передеваний, гримировки; он мог бы преподавать уроки Фредерику Леметру, ибо, когда это было нужно, умел преобразиться в денди. В дни юности он, видимо, принадлежал к кругу распущенной молодежи, завсегдаев притонов разврата. Он выказывал глубокую неприязнь к уголовной полиции, ибо во времена Империи служил в полиции Фуше, которого почитал великим человеком. После упразднения Министерства полиции он решил на худой

конец принять должность судебного исполнителя по торговым делам; но его прославленные способности, его пронизательность превращали его в драгоценное орудие, и начальники тайной политической полиции удержали имя Контансона в своих списках. Контансон, как и его соратники, был только статистом в той драме, первые роли в которой принадлежали начальникам, когда дело касалось политической работы.

– *Пошелъ прочь!* – сказал Нусинген, движением руки отпуская секретаря.

«Почему этот человек живет в особняке, а я в меблированных комнатах? – сказал про себя Контансон. – Он трижды разорял своих должников, он крал, а я ни разу не взял и медяка... Я более даровит, чем он».

– *Гонданзон, голюпчик,* – сказал барон, – *почему ти выудилъ у меня тысяча франк?*

– *Любовница моя по уши в долгу...*

– *Ти имей люпофниц?* – вскричал Нусинген, с восхищением и завистью глядя на Контансона.

– Мне всего шестьдесят шесть лет, – отвечал Контансон, который являл собою роковой пример вечной молодости, даруемой человеку Пороком.

– *Что он делает?*

– Помогает мне, – отвечал Контансон. – Ежели вора любит честная женщина, тогда либо она становится воровкой, либо он – честным человеком. А я как был, так и остался сыщиком.

– *Ти фешно нуштайся в теньгах?* – спросил Нусинген.

– Вечно, – улыбаясь, отвечал Контансон. – Мое ремесло – желать денег, ваше – наживать их: мы можем договориться, вы их накопите для меня, я берусь их промотать. Будет колодец, ведро отыщется...

– *Желаль би ти полючатъ билет в пьятсот франк?*

– Что за вопрос! Но не такой уж я глупец!.. Вы ведь предлагаете мне эти деньги не затем, чтобы исправить несправедливость судьбы?

– *Конечно, нет. Ти выудил мой тысяча франк. Даю тебе пьятсот франк. Будет тысяча пьятсот франк, котори тебе даю.*

– Прекрасно! Вы мне даете ту тысячу франков, что я у вас взял, и к ней прибавляете еще пятьсот франков.

– *Ферно,* – сказал Нусинген, кивнув головой.

– Все же это будет всего пятьсот франков, – сказал Контансон невозмутимо.

– *Котори я дам?*

– Которые я получу. Пусть так. Но в обмен на какую ценность дает господин барон этот билет?

– *В Париши, я узналь, есть челофек, способный находить женицин, мой люпоф, и ти знай адрес челофека... Атин слоф, мастер шпионаш...*

– *Правильно...*

– *Дай адрес и полючай пьятсот франк.*

– А где они? – с живостью спросил Контансон.

– *Вот он,* – сказал барон, вынимая из кармана билет.

– За чем же дело стало? Давайте, – сказал Контансон, протягивая руку.

– *Даю, даю! Желая видеть этот челофек. Потом уше полючай теньги, потому можно продавать много адрес такой цена.*

Контансон рассмеялся.

– Собственно говоря, вы вправе дурно обо мне думать, – сказал он, притворившись, что бранит самого себя. – Чем пакостнее наше положение, тем больше оно обязывает к безукоризненной честности. Послушайте-ка, господин барон, выложите шестьсот франков, и я дам вам добрый совет...

– *Дай и доферяй моя щедрость.*

– Я рискую, – сказал Контансон, – но я веду крупную игру. Служа в полиции, видите ли, надо работать тишком. Вы мне скажете: «Идем, едем!..» Вы богаты, и вам кажется, что все подчиняется деньгам. Конечно, деньги кое-что значат. Но как говорят два или три умных человека из нашей братии, деньгами можно купить только людей. А есть такое, о чем никто не думает и что купить нельзя!.. Случая не купишь... Поэтому у опытных полицейских так не водится. Захотите вы, например, показаться рядом со мной в карете. А нас кто-нибудь встретит. Случай ведь может быть и за нас, и против нас.

– *Ферно?* – спросил барон.

– А как же, сударь! Подкова, найденная на мостовой, навела префекта полиции на след адской машины. Послушайте-ка, ну вот подкатим мы нынешней ночью в фиакре к господину Сен-Жермену, а ему будет так же неприятно увидеть нас у себя в доме, как было бы неприятно вам, если бы вас увидели входящим в его дом.

– *Ферно*, – сказал барон.

– О! Он лучший из лучших помощников знаменитого Корантена, правой руки Фуше и, как говорят, его побочного сына, которого Фуше будто бы произвел на свет, еще будучи священником. Но разумеется, все это глупости: Фуше умел носить звание священника, как позже звание министра. Так вот! Этого человека, видите ли, вы не заставите работать меньше чем за десять билетов по тысяче франков каждый. Подумайте хорошенько... Но дело будет сделано, и хорошо сделано. Без сучка и задоринки, как говорится. Я предупрежу господина Сен-Жермена, и он назначит вам свиданье в каком-нибудь укромном месте, где вас никто не увидит и не услышит, потому что для него опасно заниматься полицейской работой ради частных интересов. Что же вы хотите?.. Он человек отважный; король-человек! Человек, который претерпел большие гонения, и все за то, что спас Францию! Так же точно, как я, как все, кто спас Францию!

– *Карашио, назначай час люпофни сфитань*, – сказал барон, довольный своей пошлой шуткой.

– Господин барон так и не пожелает меня поощрить? – сказал Контансон покорно и вместе с тем угрожающе.

– *Шан!* – крикнул барон садовнику. – *Ступай просить у Шорри тфацатъ франк и приноси их мне.*

– Ежели господин барон не имеет иных сведений, кроме тех, что он мне дал, сомневаюсь, может ли даже такой мастер, как господин Сен-Жермен, быть ему полезен.

– *У меня есть тругие!* – отвечал барон с хитрым видом.

– Имею честь откланяться, господин барон, – сказал Контансон, получив двадцать франков. – Буду иметь честь доложить Жоржу, где надлежит быть вечером господину барону: хороший агент никогда не посылает записок.

«Удивительно, как эти молодцы догадливы, – сказал про себя барон. – В полиции совсем как в делах!»

Расставшись с бароном, Контансон с улицы Сен-Лазар не спеша отправился на улицу Сент-Оноре, в кафе «Давид»; заглянув в окно кафе, он увидел старика, известного под именем папаши Канкоэля.

Кафе «Давид», находившееся на углу улицы Монэ и Сент-Оноре, пользовалось в тридцатые годы нашего столетия своего рода известностью, которая, впрочем, ограничивалась пределами квартала, называемого Бурдоне. Тут собирались престарелые, ушедшие на покой негодья или крупные купцы, еще ворочающие делами: Камюзо, Леба, Пильеро, Попино и кое-кто из домовладельцев, вроде дядюшки Молино. Тут можно было порою встретить престарелого Гильома, приходившего сюда с улицы Коломбье. Тут толковали о политике, но осторожно, в тесном кругу, потому что клиенты кафе «Давид» придерживались либерального направления. Тут обсуждались местные сплетни, – так велика у людей потребность высмеивать своего

ближнего! В этом кафе, как и в прочих кафе, была своя достопримечательность в лице папаша Канкоэля, завсегдатая кафе с 1811 года и столь явного единомышленника собиравшихся тут честных обывателей, что в его присутствии велись самые откровенные беседы на политические темы. Время от времени этот добродушный старик, простоватость которого служила для посетителей кафе предметом постоянных шуток, вдруг исчезал на месяц, на два; но отсутствие старика никого не удивляло; его приписывали недугам, возрасту, ибо еще в 1811 году Канкоэлю было на вид лет за шестьдесят.

– Что случилось с папашей Канкоэлем? – спрашивали, бывало, буфетчицу.

– Я думаю, что в один прекрасный день мы узнаем о его смерти из *Птит афши*, – отвечала она.

Папаша Канкоэль своим произношением неуклонно удостоверял, откуда он родом: он говорил *эстукан* вместо истукан, *эсобенный* вместо особенный, *турк* вместо турок. Он был из небогатых дворян, владельцев небольшого имения «Канкоэли», что на языке некоторых провинций означает «майский жук», находившегося в департаменте Воклюз, откуда он и приехал. В конце концов его стали называть попросту Канкоэль, вместо *де* Канкоэль, и добряк не обижался, ибо он считал, что с дворянством покончено в 1793 году; впрочем, он был младшим отпрыском младшей ветви, и ленное владение принадлежало не ему. В наши дни одевание папаша Канкоэля показалось бы странным, но в 1811–1820 годах оно никого не удивляло. Старик носил башмаки со стальными гранеными пряжками, шелковые чулки в синюю и белую полоску, короткие панталоны из плотного шелка с овальными пряжками, похожими по форме на пряжки башмаков. Белый расшитый жилет, потертый фрак из зеленовато-коричневого сукна с металлическими пуговицами и сорочка с плиссированной, заглаженной манишкой завершали его наряд. Между складок манишки поблескивал золотой медальон, сквозь стеклышко которого виднелся сплетенный из волос крошечный храм – одна из очаровательных, милых сердцу мелочей, действующих на людей успокоительно по той же причине, по которой огородное чучело наводит ужас на воробьев; большинство людей, подобно животным, пугается и успокаивается из-за пустяков. Панталоны папаша Канкоэля поддерживались поясом, который согласно моде прошлого века стягивался пряжкой под грудью. Из-за пояса свисали рядом две стальные цепочки, составленные из нескольких мелких цепочек, на конце которых болтался пучок брелочков. Белый галстук был застегнут сзади маленькой золотой пряжкой. Наконец, на белоснежных, напудренных волосах еще в 1816 году красовалась муниципальная треуголка, точно такая, как у г-на Три, председателя суда. Этот столь дорогой ему убор папаша Канкоэль заменил недавно (добряк счел себя обязанным принести эту жертву своему времени) отвратительной круглой шляпой, против которой не могло быть никаких возражений. Маленькая косичка, перевязанная лентой, начертала на спине фрака полукруг, присыпав этот жирный след легким слоем пудры. Задержав взгляд на самой приметной черте его лица – багровом и бугристом носе, поистине достойном возлежать на блюде с трюфелями, – вы предположили бы, что у почтенного старца, совершенного простака с виду, покладистый, добродушный характер, и вы были бы одурачены, как и все в кафе «Давид», где никому и на ум не пришло бы исследовать лоб, говорящий о наблюдательности, язвительный рот и холодные глаза этого старика, вскормленного пороками, невозмутимого, как Вителлий, и обладавшего таким же, как у него, словно чудом возродившимся, внушительным чревом. В 1816 году молодой коммивояжер, по имени Годиссар, завсегдатой кафе «Давид», однажды к полуночи напился допьяна в обществе отставного наполеоновского офицера. Он имел неосторожность рассказать ему о тайном заговоре против Бурбонов, довольно опасном и уже близком к цели. В кафе не было никого, кроме папаша Канкоэля, дремавшего за своим столиком, двух сонных лакеев и буфетчицы. На другой же день Годиссара арестовали: заговор был раскрыт. Двое погибли на эшафоте. Ни Годиссар, ни кто иной не заподозрили почтенного папашу Канкоэля в доносе. Слуг уволили, посетители в продолжение года следили друг за другом, и все трепетали перед полицией в полном едино-

душии с папашей Канкоэлем, который поговаривал о бегстве из кафе «Давид», так велик был его страх перед полицией.

Контансон вошел в кафе, спросил рюмочку водки, не взглянув даже на папашу Канкоэля, поглощенного чтением газет; залпом осушив рюмку, он вынул золотой, полученный от барона, и позвал слугу, три раза коротко постучав по столу. Буфетчица и слуга изучали монету с вниманием, весьма оскорбительным для Контансона; но их подозрительность была оправдана его внешностью, озадачившей всех завсегдатаев кафе. «Кражей или убийством добыто это золото?» – промелькнуло в уме некоторых неглупых и проницательных людей, с виду всецело занятых чтением газеты, но наблюдавших поверх очков за новым посетителем. Контансон, который все видел и ничему не удивлялся, обтер губы платком, заштопанным всего лишь в трех местах, получил сдачу и, не оставив слуге ни сантима, положил все монеты в жилетный карман, подкладка которого, некогда белая, теперь была черной, как сукно на его панталонах.

– Настоящий висельник! – сказал папаша Канкоэль господину Пильеро, своему соседу.

– Полноте! – ответил громко, на все кафе, господин Камюзю, единственный, кто не выказал ни малейшего удивления. – Ведь это Контансон, правая рука Лушара, нашего торгового пристава. Эти шельмы, должно быть, нащупали кого-нибудь в квартале...

Минут через пятнадцать старик Канкоэль поднялся, взял зонтик и не спеша вышел.

Не следует ли объяснить, какой ужасный и темный человек скрывался под одеянием папашы Канкоэля, подобно тому как под сутаной Карлоса таился Вотрен? Этот южанин, родившийся в Канкоэлях, единственном владении его семьи, кстати, довольно почтенной, носил имя Перад. Он действительно принадлежал к младшей ветви рода Ла Перад, старинной, но бедной семьи, владевшей еще и поныне маленьким участком земли Перадов. В 1772 году седьмой ребенок в семье, он, в возрасте семнадцати лет, пришел пешком в Париж с двумя монетами по шести ливров в кармане, побуждаемый пороками своего необузданного характера и горячим желанием сделать карьеру, которое стольких южан бросает в столицу, едва им становится ясно, что отчий дом никогда не обеспечит их состоянием, достаточным для удовлетворения их страстей. Вся юность Перада станет понятной, если сказать, что в 1782 году он был доверенным лицом, персоной в главном управлении полиции, где его высоко ценили гг. Ленуар и Альбер, два последних ее начальника. Революция упразднила полицию, она в ней не нуждалась. Шпионаж, в те времена почти поголовный, именовался гражданской доблестью. Директория, – правительство несколько более упорядоченное, нежели Комитет общественного спасения, – была вынуждена восстановить полицию, и первый консул завершил ее созидание, учредив префектуру и Министерство полиции. Перад, человек с традициями, подобрал личный состав совместно с неким Корантенем, человеком более молодым, но, кстати сказать, гораздо более искусным, нежели сам Перад, снискавший, впрочем, славу гения лишь в недрах полиции. В 1808 году огромные услуги, оказанные Перадом, были вознаграждены назначением его на высокий пост главного комитета полиции в Антверпене. По мысли Наполеона, эта своего рода полицейская префектура соответствовала Министерству полиции, и ее миссией было наблюдать за Голландией. По возвращении из похода, в 1809 году, приказом императорского кабинета Перад под конвоем двух жандармов был доставлен на почтовых из Антверпена в Париж и брошен в тюрьму Форс. Два месяца спустя он вышел из тюрьмы под поручительство своего друга Корантена, подвергшись предварительно у префекта полиции троекратному допросу, по шести часов каждый. Не была ли опала Перада вызвана тем, что он с поразительной энергией помогал Фуше в обороне берегов Франции, когда она подвергалась нападению, вошедшему в историю под именем Вальхернской экспедиции, и герцог Отрантский обнаружил способности, испугавшие императора? Во времена Фуше это было лишь предположением; но теперь, когда всем уже известно, что именно произошло тогда в совете министров, созванном Камбасересом, оно превратилось в уверенность. Сраженные известием о попытке Англии отомстить Наполеону за Булонский поход и застигнутые этим событием врасплох, министры не

знали, на что им решиться в отсутствие своего повелителя, который засел тогда на острове Лобоу и, отрезанный от Франции, был обречен на гибель, как думала вся Европа. По общему мнению, необходимо было послать к императору курьера, но один лишь Фуше дерзнул предложить план военных действий, кстати, приведенный им в исполнение. «Делайте, что хотите, – сказал ему Камбасерес, – но мне *дорога моя голова*, поэтому я посылаю донесение императору». Известно, какой нелепый повод был выдвинут императором по его возвращении в Государственном совете, чтобы лишить милости министра и наказать его за спасение Франции в его отсутствие. С того дня император к неприязни князя Талейрана добавил неприязнь к себе герцога Отрантского – двух видных политических деятелей, порожденных революцией, которые, возможно, спасли бы Наполеона в 1813 году. Чтобы отстранить Перада, было выдвинуто пошлое обвинение во взяточничестве; он якобы поощрял контрабанду, участвуя в дележе прибыли с крупными коммерсантами. Подобное обвинение тяжело отозвалось на человеке, который за важные услуги был пожалован командным жезлом главного комиссара антверпенской полиции. Этот искушенный в своем деле человек владел тайнами всех правительств начиная с 1775 года, первых дней его службы в главном управлении полиции. Император, считавший себя достаточно сильным, чтобы не бояться возвышать полезных людей, однако ж не принял во внимание ходатайство, с которым к нему позже обратились по поводу этого человека, заслужившего репутацию самого верного, самого ловкого и самого хитрого из тех неведомых гениев, на которых возложены заботы о безопасности государства. Он думал, что возможно заменить Перада Контансоном, но Контансон в то время был всецело поглощен выгодными для себя поручениями Корантена. Распутник и чревоугодник, Перад был тем более жестоко уязвлен, что в отношении женщин он попал в положение пирожника-сластены. Порочные привычки стали его второй натурой: он уже не мог обойтись без хорошего обеда, без азартной игры, – короче, он не мог не жить этой лишенной показного блеска жизнью вельможи, которую ведут все люди, облеченные властью и превратившие в потребность чудовищные свои излишества. Он всегда жил расточительно, ел, как хотел, прямо с блюда и не стремился блистать в обществе, так как ни с ним, ни с его другом Корантеном совсем не считались. Циник и остролов, он, помимо того, любил свое ремесло: это был философ. Впрочем, шпион, какое бы положение в полицейском механизме он ни занимал, подобно каторжнику, не может вернуться к профессии честной и достойной. Однажды отмеченные, однажды занесенные в особые списки, шпионы и осужденные законом приобретают, как и лица духовного звания, некие неизгладимые черты. Есть люди, на которых лежит печать их роковой судьбы, – ее на них накладывает общественное положение. На свое несчастье, Перад страстно любил очаровательную девочку, – он считал ее своей дочерью от одной известной актрисы, которой он оказал услугу, за что целых три месяца она дарила его своей признательностью. И вот Перад, выписавший ребенка из Антверпена, очутился в Париже без всяких средств, получая лишь ежегодное пособие в тысячу двести франков, назначенное полицейской префектурой старому ученику Лемуара. Он поселился на улице Муано, в пятом этаже, в маленькой квартире из пяти комнат, обходившейся в двести пятьдесят франков.

Если человеку суждено когда-либо ощутить пользу и сладость дружбы, то кому, как не прокаженному духом, кого общество называет шпионом, народ – шпиком, администрация – агентом? Итак, Перад и Корантен были друзьями, подобно Оресту и Пиладу. Перад создал Корантена, как Вьен создал Давида, но ученик быстро превзошел учителя. Они провели сообща не одно дело. (См. *Темное дело*.) Перад, гордый тем, что открыл таланты Корантена, вывел его в люди, уготовив ему торжество. Он приневолил своего ученика обзавестись в качестве удочки для уловления мужчин любовницей, которая презирала его. (См. *Шуаны*.) А Корантену было тогда всего двадцать пять лет! Корантен, один из тех генералов, чьим главнокомандующим являлся министр полиции, сохранил при герцоге де Ровиго высокий пост, который занимал при герцоге Отрантском. Главное управление полиции действовало тогда так

же, как и полиция уголовная. В каждом более или менее крупном деле давали, так сказать, подряд трем, четырем и даже пяти способным агентам. Министр, осведомленный о каком-либо заговоре, кем-то и как-то предупрежденный о готовящемся злодеянии, неизменно говорил одному из начальствующих лиц полиции: «Сколько вам нужно, чтобы добиться такого-то результата?» Корантен или Контансон по зрелом размышлении отвечали: «Двадцать, тридцать, сорок тысяч франков». Затем, как только отдавался приказ действовать, все средства и нужные люди предоставлялись на выбор и усмотрение Корантена или другого назначенного агента. Уголовная полиция действовала таким же образом, когда в раскрытии преступлений принимал участие знаменитый Видок.

Полиция политическая, как и полиция уголовная, вербовала людей главным образом среди агентов, внесенных в списки, постоянных, проверенных сотрудников, своего рода солдат этой тайной армии, столь необходимой правительствам вопреки пышным фразам филантропов или моралистов невысокой морали. Но два или три генерала от полиции того же покроя, что Перад и Корантен, облеченных чрезвычайным доверием, пользовались правом привлекать к делу лиц, неизвестных полиции, однако ж с обязательством отдавать отчет министру в важных случаях. Итак, опытность и проницательность Перада были чрезвычайно ценны для Корантена, и он после шквала 1810 года приблизил к себе старого друга, постоянно с ним советовался и охотно шел навстречу его нуждам. Корантен изыскал способ выхлопотать Пераду пособие в размере тысячи франков в месяц. Со своей стороны Перад оказал неоценимые услуги Корантену. В 1816 году Корантен в связи с раскрытием заговора, в котором был замешан бонапартист Годиссар, попытался восстановить Перада в должности чиновника главной полиции королевства, но кандидатура Перада была отклонена неким влиятельным лицом. И вот почему. Стремясь упрочить свое положение, Перад, Корантен и Контансон, подстрекаемые герцогом Отрантским, организовали контрполицию для Людовика XVIII, в которой стал служить Контансон и другие виднейшие агенты. Людовик XVIII умер, а с ним и тайны, оставшиеся нераскрытыми для историков, даже наиболее осведомленных. Борьба главной полиции королевства и контрполиции короля породила страшные деяния, тайну которых хранят несколько эшафотов. Здесь не место углубляться в подробности этих событий, да и нет для этого повода, ибо *Сцены парижской жизни* не то, что *Сцены политической жизни*; достаточно указать, каковы были средства существования человека, которого в кафе «Давид» называли «папашей Канкоэлем», и те нити, которыми он был связан с ужасной и темной властью полиции. С 1817 по 1822 год Корантену, Контансону, Пераду и их агентам часто вменялось в обязанность следить за самим министром. Этим можно объяснить, почему министерство отказалось от услуг Перада и Контансона, на которых Корантен без их ведома направил подозрения министров, желая привлечь к работе своего друга, когда ему показалось, что восстановить его в должности невозможно. Тогда министры возымели доверие к Корантену и поручили ему следить за Перадом, вызвав тем улыбку Людовика XVIII. Таким путем Корантен и Перад оказались господами положения. Контансон, с давних пор связанный с Перадом, по-прежнему служил ему. Он предоставлял себя в распоряжение торговых приставов по приказанию Корантена и Перада. В самом деле, оба эти генерала от полиции, побуждаемые тем особым рвением, что внушается ремеслом, которому отдаешься с любовью, предпочитали расставлять на все те места, где можно было почерпнуть богатые сведения, самых искусных солдат. Притом пороки Контансона, его извращенные наклонности, послужившие причиной более низкого служебного положения, чем у двух его друзей, требовали столько денег, что он вынужден был братья за любую работу. Контансон, не нарушая служебной тайны, сказал Лушару, что ему известен лишь один человек, способный угодить банкиру Нусингену. Перад и в самом деле был единственным агентом, который мог невозбранно заниматься сыском в пользу частного лица. Со смертью Людовика XVIII Перад лишился не только всего своего влияния, но и особых преимуществ личного шпиона его величества. Считая себя человеком незаменимым, он по-прежнему вел широкий

образ жизни. Женщины, хороший стол, а также Иностраный клуб уничтожали всякую возможность экономии у этого человека, обладавшего, как все порочные люди, железным организмом. Но с 1826 года по 1829 год, в возрасте чуть ли не семидесяти четырех лет, он, по его выражению, уже шел на тормозах. Перад видел, как год от году уменьшается его благополучие. Он присутствовал при похоронах полиции, он с грустью наблюдал, как правительство Карла X отреклось от ее старых порядков. Палата депутатов от сессии к сессии урезывала ассигнования, потребные для существования полиции, из ненависти к подобному методу управления и ради желания улучшить нравы этого ведомства. «Похоже на то, что они хотят готовить обед в белых перчатках», – сказал Перад Корантену.

В 1822 году Корантен и Перад уже предугадывали события 1830 года. Они знали о тайной ненависти Людовика XVIII к своему преемнику, объяснявшей снисходительность короля к младшей линии, а иначе бы его царствование и его политика так и остались бы загадкой без разгадки.

С годами любовь Перада к побочной дочери возрастала. Ради нее он преобразился в буржуа, ибо желал выдать Лидию за порядочного человека. Недаром он мечтал, особенно последние три года, получить видное и почетное место в префектуре полиции либо в Управлении главной королевской полиции. Наконец он придумал должность, насущная необходимость в которой, говорил он Корантену, рано или поздно назреет. Он предлагал учредить при префектуре полиции так называемое *справочное бюро* как посредствующую инстанцию между собственно парижской полицией, полицией уголовной и полицией королевства и тем самым предоставить главному управлению полиции возможность пользоваться всеми этими распыленными силами. Только один Перад в его возрасте, после пятидесяти пяти лет секретной службы, мог быть звеном, связующим три полиции, мог, наконец, стать там архивариусом, к которому в известных случаях обращались бы за сведениями и Политика и Правосудие. Таким путем Перад надеялся с помощью Корантена при первом удобном случае поймать и мужа и приданое для своей Лидии. Корантен уже говорил по этому поводу с начальником королевской полиции, не упоминая имени Перада, и начальник, южанин, счел нужным внести его предложение на рассмотрение префектуры.

В ту минуту, когда Контансон ударил трижды золотой монетой о стол, что означало: «Мне надо с вами потолковать», патриарх полицейских агентов обдумывал следующую задачу: «При помощи какого человека и чем именно можно заинтересовать нынешнего префекта полиции и заставить его действовать?» А со стороны могло показаться, что он с идиотским видом изучает *Курье франсэ*.

«Наш бедный Фуше, этот великий человек, умер! – мысленно говорил он, идя вдоль улицы Сент-Оноре. – Бывшие посредники между Людовиком XVIII и нами в опале! К тому же, как вчера сказал Корантен, никто не доверяет ни ловкости, ни уму семидесятилетнего старца... Ах! Зачем я пристрастился к обедам у Вери, к тонким винам... к песенкам вроде «Мамаша Годишон»... к игре, как только я при деньгах! Чтобы завоевать положение, мало одного ума, как говорит Корантен, надобно еще держать себя с умом! Наш дорогой господин Ленуар как будто напроорочил мне, когда, выслушав историю с ожерельем и узнав, что я не остался под кроватью девицы Олива, сказал: “Вы никогда ничего не добьетесь!”»

Если почтенный папаша Канкоэль (в доме так и звали его: «папаша Канкоэль») обосновался на улице Муано, в пятом этаже, поверьте, что он обнаружил в устройстве и расположении квартиры немало особенностей, которые благоприятствовали его ужасному занятию. Дом стоял на углу улицы Нев-Сен-Рох, и с одной стороны соседей у него не было. Помимо того, его надвое разделяла лестница таким образом, что в каждом этаже оказались две совершенно уединенные комнаты. Эти две комнаты были расположены в той половине дома, которая выходила на улицу Сен-Рох. Над пятым этажом помещались мансарды, одна из которых служила кухней, а другую занимала единственная служанка папаши Канкоэля, по имени Катт, – фла-

мандка, выкормившая Лидию. Папаша Канкоэль устроил спальню в первой из двух смежных комнат, а во второй кабинет. Задняя, капитальная стена кабинета отделяла его от соседнего дома. Из окна, выходящего на улицу Муано, видна была только глухая угловая стена противоположного дома. И так как между кабинетом и лестницей находилась еще спальня Перада, друзья могли, не опасаясь посторонних глаз и ушей, спокойно беседовать в этом кабинете, точно созданном для их страшного ремесла. Из предосторожности Перад устроил в комнате фламандки настил из соломы и, прикрыв его толстым сукном, положил сверху чрезвычайно пушистый ковер, якобы желая угодить кормилице своего ребенка. Более того, он упразднил в квартире камин и топил печь, труба которой выходила сквозь наружную стену на улицу Сен-Рох. Затем он покрыл коврами паркет в своих комнатах, чтобы жильцы нижнего этажа не могли уловить ни малейшего звука. Знаток в искусстве шпионажа, он раз в неделю обследовал смежную стену, потолок и пол, делая вид, что ведет борьбу с докучными насекомыми. Будучи уверен, что тут он огражден от соглядатаев и слушателей, Перад предоставлял этот кабинет Корантену в качестве залы совещаний в тех случаях, когда тот не проводил их у себя. Квартира Корантена была известна лишь начальнику королевской полиции и Пераду, и только в особо важных случаях он принимал у себя лиц, представлявших министерство или двор; но ни один агент, ни один подчиненный там не появлялся: дела, связанные с их ремеслом, обсуждались у Перада. В этой неприглядной комнате в полной безопасности составлялись планы действий, принимались решения, которые послужили бы материалом для своеобразных летописей и занимательных драм, если бы стены могли говорить. Тут, с 1816 по 1826 год, обсуждались дела огромной важности. Тут были обнаружены зачатки событий, которым суждено было обрушиться на Францию. Тут в 1819 году Перад и Корантен, столь же предусмотрительные, как Беляр, генеральный прокурор, но более осведомленные, говорили между собой: «Если Людовик XVIII не решается нанести такой-то или такой-то удар, если он не желает отделаться от такого-то принца, стало быть, он ненавидит своего брата? Стало быть, он хочет оставить ему в наследство революцию?»

Дверь Перада была снабжена грифельной доской, на которой время от времени появлялись странные знаки и числа, написанные мелом. То был род сатанинской алгебры, смысл которой был совершенно ясен для посвященных. Напротив скромного жилья Перада находилась квартира Лидии, состоявшая из прихожей, маленькой гостиной, спальни и туалетной комнаты. Входная дверь ее, как и у Перада, представляла собою целое сооружение из двойного слоя крепких дубовых досок, между которыми был вставлен железный лист девяти миллиметров толщиной, снабженное замками и целой системой крюков, отчего взломать его было бы так же трудно, как взломать двери тюрьмы. И хотя дом этот с темными сенями, с бакалейной лавкой был из тех домов, где не водится привратника, Лидия могла чувствовать себя тут в полной безопасности. Столовая, гостиная, спальня, с подвесными ящиками для цветов в окнах, были по-фламандски опрятны и обставлены с некоторой роскошью. Кормилица-фламандка находилась безотлучно при Лидии и называла ее дочуркой. Они обе аккуратно посещали церковь, и благочестие их создало прекрасное мнение о папаше Канкоэле у бакалейщика-роялиста, державшего лавку в этом же доме на углу улицы Муано и Нев-Сен-Рох и занимавшего со всем своим семейством, прислугой, приказчиками первый и второй этаж. В третьем этаже жил владелец дома, четвертый – уже лет двадцать снимал шлифовщик драгоценных камней. У каждого из жильцов был ключ от входной двери. Бакалейщица охотно принимала письма и пакеты, адресованные трем мирным семействам, тем более что на двери бакалейной лавки висел почтовый ящик. Без этого подробного описания иностранцы, и даже те из них, которые хорошо знакомы с Парижем, не могли бы вообразить себе всю полноту покоя, заброшенности и безопасности, превращавших этот дом в одну из достопримечательностей Парижа. Папаша Канкоэль мог начиная с полуночи измышлять любые козни, принимать шпионов, министров, женщин, девушек, будучи уверен, что никто этого не заметит. Перад слыл превосходным человеком, который «и

мухи не обидит!», – как говорила о нем фламандка кухарке бакалейщика. Он ничего не жалел для своей дочери. Лидия, пройдя школу музыки у Шмуке, настолько преуспела в ней, что могла заниматься и композицией. Она умела рисовать сепией, гуашью, акварелью. По воскресеньям Перад обедал с дочерью. В этот день старик всецело был отцом. Набожная, но отнюдь не ханжа, Лидия говела на Святой Неделе и каждый месяц ходила к исповеди. Однако ж она разрешала себе изредка пойти в театр. В хорошую погоду она гуляла в Тюильри. В этом были все ее развлечения, ибо она вела самую замкнутую жизнь. Лидия, обожавшая отца, совершенно не подозревала о его зловещих талантах и темных занятиях. Ни единое желание не смутило чистой жизни этого невинного существа. Стройная, красивая, как ее мать, с очаровательным голосом, тонким личиком, обрамленным прекрасными белокурыми волосами, она напоминала ангелов, скорее сотканных из воздуха, нежели облеченных плотью, которых живописцы эпохи, предшествовавшей Возрождению, рисовали на фоне полотен, изображающих Святое семейство. Синие глаза ее, казалось, изливали небесное сияние на каждого, кого она удостаивала взглядом. От ее целомудренного наряда, чуждого крайностей моды, веяло ароматом добропорядочности. Вообразите отцом этого ангела старого сатану, обретающего новые силы в столь божественной близости, и вы получите представление о Пераде и его дочери. Если бы кто-либо осквернил этот алмаз, отец изобрел бы для казни нечестивца одну из тех адских ловушек, какие привели не одного несчастного на эшафот во время Реставрации. Для Лидии и Катт, которую она называла няней, на расходы по хозяйству было достаточно тысячи экю.

Возвращаясь домой, на улице Муано Перад увидел Контансона; он обогнал его, вошел наверх первым и, услышав на лестнице шаги своего агента, впустил его к себе, прежде чем фламандка успела высунуть нос из дверей кухни. Колокольчик, начинавший звонить, как только открывалась решетчатая дверь в четвертом этаже, где жил шлифовальщик алмазов, извещал жильцов четвертого и пятого этажей о том, что к ним кто-то идет. Само собой разумеется, что после полуночи Перад обертывал ватой язычок колокольчика.

– Что за неотложное дело, Философ?

«Философ» было прозвище, данное Перадом Контансону и вполне заслуженное этим Эпиктетом сыщиков. За именем «Контансон» скрывалось, увы! одно из древнейших имен нормандской аристократии. (См. *Братья утешения*.)

– А то, что можно заработать тысяч десять.

– О чем идет речь? Политика?

– Нет, сущий вздор! О бароне Нусингене, вы его знаете; этот старый матерый волк совсем взбесился: ему нужна женщина, которую он встретил в Венсенском лесу; надо ее найти, или он умрет от любви... Мне сказал его лакей, что вчера был созван консилиум... Я уже выманил у него тысячу франков на поиски этой принцессы.

И Контансон рассказал о встрече Нусингена и Эстер, прибавив, что барон получил какие-то новые сведения.

– Ладно, – сказал Перад, – мы отыщем его Дульцинею; скажи барону, чтобы он приехал в карете сегодня же вечером в Елисейские поля и ждал на углу авеню Габриель и Мариньи.

Перад выпроводил Контансона и постучал к дочери условленным стуком. Он вошел к ней с веселым видом: случай только что предоставил ему средство получить наконец желанную должность. Поцеловав Лидию в лоб, он опустился в отличное вольтеровское кресло и сказал ей:

– Сыграй мне что-нибудь!..

Лидия исполнила ему пьесу Бетховена для фортепьяно.

– Отлично сыграно, моя козочка, – сказал он, притягивая к себе дочь. – Итак, нам двадцать один год? Пора выходить замуж, ведь нашему папаше уже за семьдесят...

– Я счастлива здесь, – отвечала она.

– Ты любишь только меня, такого безобразного, такого старого? – спросил Перад.

– Но кого же мне еще любить?

– Я обедаю с тобой, моя козочка, предупреди Катт. Я думаю, что наши дела наладятся, я получу должность, подыщу тебе достойного мужа... какого-нибудь славного и даровитого молодого человека, которым в будущем ты могла бы гордиться...

– Мне встретился только один, кого я хотела бы назвать своим мужем...

– Тебе встретился... такой?..

– Да, в Тюильри, – отвечала Лидия, – он проходил рука об руку с графиней де Серизи.

– Его имя?

– Люсьен де Рюбампре!.. Мы с Катт сидели под липами, просто так. А рядом со мной две дамы. Одна из них сказала: «Вот госпожа де Серизи и красавец Люсьен де Рюбампре». Я взглянула на проходившую пару, о которой говорили эти дамы. «Ах, милочка, – сказала другая дама, – есть же такие счастливицы!.. Такой вот все прощается, потому что она урожденная де Ронкероль и ее муж пользуется влиянием». «Но, милочка, – отвечала первая дама, – Люсьен ей дорого обходится...» Что она хотела этим сказать, папа?

– Пустая светская болтовня, – отвечал дочери с самым добродушным видом Перад. – Возможно, они намекали на какие-нибудь политические события.

– Так вот! Вы меня спросили, и я отвечаю. Если вы желаете выдать меня замуж, найдите мне мужа, который был бы похож на этого молодого человека.

– Глупенькая, – отвечал отец. – Мужская красота не всегда признак порядочности. Юношам, одаренным привлекательной внешностью, все дается легко в начале их жизненного пути. Они пренебрегают своими дарованиями, поощрение света их развращает, и позже они дорого расплачиваются за это!.. Я хочу дать тебе в мужья такого человека, которому мещане, богачи и глупцы не оказывают ни помощи, ни покровительства.

– Кого же, отец?

– Безвестного гения... Полно же, милая детка, я могу ведь перешарить все парижские чердаки и выполнить твою программу; я найду для тебя человека, столь же прекрасного, как тот бездельник, о котором ты мне говоришь, но человека с будущим, одного из тех, кому уготованы слава и богатство... Ах! Вот о чем я не подумал! У меня должен быть целый выводок племянников, и среди них может оказаться юноша, достойный тебя!.. Я напишу или прикажу написать в Прованс!

Странное совпадение! Именно в этот час молодой человек, проделав долгий путь пешком из департамента Воклюз и умирая от голода и усталости, входил через Итальянские ворота в Париже, разыскивая своего дядюшку Перада. В воображении семьи, не знавшей о судьбе этого дядюшки и уверившей себя, что он вернулся миллионером из Индии, папаша Канкоэль являлся оплотом всех ее надежд. Вдохновившись этим романом, сочиненным у камелька, внучатый племянник де Канкоэля, по имени Теодоз, предпринял кругосветное путешествие в поисках сказочного дядюшки.

Насладившись радостями отцовства, которым он отдал несколько часов, Перад, вымыв и выкрасив волосы (пудра была лишь маскировкой), облачившись в добротный синего сукна сюртук, застегнутый до самого подбородка, накинув черный плащ, в высоких сапогах на толстых подошвах медленно прохаживался, снабженный личным удостоверением полиции, по авеню Габриель, против садов Елисейского дворца Бурбонов, где его и остановил Контансон, переодетый старой торговкой овощами.

– Господин де Сен-Жермен, – сказал ему Контансон, называя своего бывшего начальника его боевой кличкой, – вы дали мне возможность заработать пятьсот *финажек* (франков); но если я вас поджидаю здесь, так только для того, чтобы сказать вам следующее: проклятый барон, прежде чем дать их мне, ездил за справками в *заведение* (в префектуру).

– Вероятно, ты мне понадобишься, – отвечал Перад. – Повидайся с номерами седьмым, десятым и двадцать первым, мы пустим их в дело так, что ни полиция, ни префектура этого не заметит.

Контансон подошел с ним к карете, в которой господин Нусинген ожидал Перада.

– Я Сен-Жермен, – сказал южанин барону, подтянувшись до дверцы кареты.

– *Ну, так садись в карет!* – отвечал барон, приказав кучеру ехать к Триумфальной арке на площади Этуаль.

– Вы ездили в префектуру, господин барон? Очень непохвально. Дозвольте узнать, что вы сказали господину префекту и что он вам ответил? – спросил Перад.

– *Я хотел дать пятьсот франк такой мошенник, как Гонданзон, и потому желал бы знать, какой он имеет цену. Я говорил префекту полицай, что желал бы пользоваться агентом по фамилии Перат в атин деликатни порушень и желал бы иметь безграничные доверия... Префект говорил, что ты есть сами ловки агент и сами честни... Вот и все.*

– Теперь, когда господину барону открыли мое настоящее имя, он, возможно, соизволит посвятить меня в суть дела?

Барон, пространно и многословно, с ужасным произношением польского еврея, поведал о своей встрече с Эстер, воспроизвел крик гайдука на запятках кареты и рассказал о тщетных попытках найти незнакомку; в заключение он сообщил о том, что случилось накануне в его доме; о невольной улыбке Люсьена де Рюбампре и об уверенности Бьяншона и некоторых денди, что между этим молодым человеком и незнакомкой существует близкая связь.

– Послушайте, господин барон, вы должны прежде всего вручить мне десять тысяч франков в счет расходов, потому что для вас вся эта история – вопрос жизни; но так как ваша жизнь – крупное предприятие, надо испробовать все, чтобы найти эту женщину. Ну и попались же вы!

– *Та, я попался...*

– Если понадобится больше, я вам скажу. Барон, доверьтесь мне, – продолжал Перад, – я не шпион, как вы могли бы подумать... В тысяча восемьсот седьмом году я был главным комиссаром полиции в Антверпене, и теперь, когда Людовик Восемнадцатый умер, могу вам открыться: семь лет я руководил его контрполицией. Стало быть, со мной не торгуются. Вы отлично понимаете, господин барон, что нельзя составлять смету на покупку чужой совести прежде, чем изучишь дело. Беспокоиться вам незачем, успех обеспечен. Но не думайте, что меня можно удовлетворить какой-либо суммой, я желаю иного вознаграждения...

– *Надеюсь, не королевство?* – сказал барон.

– Для вас это сущий пустяк.

– *Зогласен!*

– Вы знаете Келлеров?

– *Одшень...*

– Франсуа Келлер – зять графа де Гондревилья, и граф Гондревиль обедал у вас вчера со своим зятем.

– *Кой тьяволь вам это сказаль?..* – вскричал барон. – *Ферно, набольталь Шори!*

Перад усмехнулся. У барона, уловившего его усмешку, зашевелились подозрения насчет своего слуги.

– Граф де Гондревиль без труда может меня устроить на должность, которую я желаю занять в префектуре; префекту полиции ровно через двое суток будет представлена докладная записка по поводу утверждения этой должности, – сказал Перад. – Похлопочите обо мне, добейтесь, чтобы де Гондревиль тоже вмешался в это дело, и погорячее. Вот ваше вознаграждение за услугу, которую я вам окажу. Для меня достаточно вашего слова, ибо, ежели вы ему измените, вы рано или поздно проклянете день, когда вы родились на свет... Порукой слово Перада...

– *Я даю вам честни слоф делают все, что возможно...*

– Если бы я делал для вас только возможное, этого было бы недостаточно.

– *Карашо, я действуй прямотуино!*

– Прямодушно... Вот и все, о чем я прошу, – сказал Перад, – и прямодушие – это единственный, хоть и несколько непривычный для нас подарок, которым мы можем обменяться.

– *Прямотушино*, – повторил барон. – *Где ви желайте зойти?*

– За мостом Людовика Шестнадцатого.

– *За мост!* К Законодательны палат, – сказал барон лакею, подошедшему к дверце кареты.

«Теперь-то она уже будет моя!..» – сказал себе барон, отъезжая.

«Какая насмешка судьбы! – думал Перад, идя пешком в Пале-Рояль, где он хотел попытаться счастья в игре, чтобы утроить десять тысяч франков для приданого Лидии. – Я принужден разбираться в делишках молодого человека, с первого же взгляда обворожившего мою дочь. Он, верно, из тех мужчин, у которых *сглаз* на женщин», – сказал он мысленно, употребляя одно из выражений особого жаргона, который он ввел в обиход и который помогал ему и Корантену подытожить свои наблюдения в форме, пусть нередко насилующей язык, зато тем самым придающей ему силу и красочность.

Когда барон Нусинген воротился домой, его нельзя было узнать; он удивил жену и слуг; он был румян, оживлен, даже весел.

– Берегись, акционеры! – сказал дю Тийе Растиньяку.

Вернувшись из Оперы, все пили чай в малой гостиной г-жи Дельфины Нусинген.

– *Та*, – сказал с улыбкой барон, уловив шутку своего собрата, – *я чувствуй желанье делать дела...*

– Стало быть, вы виделись с вашей незнакомкой? – спросила г-жа Нусинген.

– *Нет*, – отвечал он, – *только натееюсь видеться*.

– Любят ли так когда-нибудь свою жену?.. – вскричала г-жа Нусинген, ощутив легкую ревность или притворяясь, что ревнует.

– Когда она будет в ваших руках, – сказал дю Тийе барону, – вы пригласите нас отужинать с нею, ведь любопытно посмотреть на существо, которое могло вернуть вам молодость.

– *Лутчи шедефр тфорени!* – отвечал старый барон.

– Он дает себя поймать, как мальчишка, – шепнул Растиньяк Дельфине.

– Полноте! Он достаточно богат, чтобы...

– Чтобы кое-что промотать, не так ли?.. – сказал дю Тийе, перебивая баронессу.

Нусинген ходил взад и вперед по гостиной, точно у него был зуд в ногах.

– Вот удачный момент обратиться к нему с просьбой заплатить ваши новые долги, – шепнул Растиньяк на ухо баронессе.

В эту же самую минуту Карлос, преподавший последние наставления Европе, которой предстояло сыграть главную роль в комедии, придуманной, чтобы одурачить Нусингена, вышел исполненный надежд из дверей дома на улицу Тетбу. До бульвара его сопровождал Люсьен, весьма обеспокоенный видом этого полудемона, настолько изменившего свою внешность, что даже он, Люсьен, узнал его только по голосу.

– Где, черт возьми, ты нашел женщину прекраснее Эстер? – спросил он своего развратителя.

– Милый мой, в Париже такую не найдешь. Подобные краски не вырабатываются во Франции.

– Послушай-ка, я все еще ошеломлен... Венера Калипига сложена не лучше! За нее черту душу продашь... Но где ты ее достал?

– Она самая красивая девушка в Лондоне. Напившись джина, она в припадке ревности убила любовника. Любовник этот – отъявленный негодяй, от которого лондонская полиция рада была избавиться. А чтобы дело забылось, девицу отослали на некоторое время в Париж... Распутница получила отличное воспитание. Она дочь какого-то министра, по-французски говорит, как парижанка. Она не знает и никогда не узнает, зачем она тут. Ей сказали,

что она может тянуть из тебя миллионы, надо только тебе понравиться, но что ты ревнив, как тигр, почему ей и предложили вести образ жизни Эстер. Она не знает твоего имени.

– А вдруг Нусинген предпочтет ее Эстер?..

– Ах, вот до чего ты дошел!.. – вскричал Карлос – Сегодня ты жаждешь того, что тебя ужасало вчера. Будь покоен. У этой белокурой и белотелой девушки голубые глаза, она полная противоположность еврейке; но лишь глаза Эстер способны взволновать такого растленного человека, как Нусинген. Ведь не мог же ты скрывать от света дурнушку, черт возьми! Как только эта кукла сыграет свою роль, я отправлю ее под охраной верного человека в Рим или в Мадрид, пусть там разжигает страсти.

– Если она у нас недолгая гостя, – сказал Люсьен, – ворочусь к ней...

– Ступай, сын мой, забавляйся... Завтрашний день тоже в твоём распоряжении. А я подожду одну особу, которой поручил следить за тем, что творится у барона Нусингена.

– Кто эта особа?

– Любовница его лакея; ведь надобно в любую минуту знать, что происходит у неприятеля.

В полночь Паккар, гайдук Эстер, встретился с Карлосом на мосту Искусств, наиболее удобном месте в Париже, чтобы перекинуться словом, которое не должно быть услышано. Разговаривая, гайдук смотрел в одну сторону, его хозяин – в другую.

– Барон ездил сегодня в префектуру, между четырьмя и пятью часами, – сказал гайдук, – а вечером хвалился, что найдет женщину, которую он видел в Венсенском лесу. Ему обещали.

– За нами будут следить! – сказал Карлос. – Но кто?..

– Уже обращались к услугам Лушара, торгового пристава.

– Бояться его было бы ребячеством! – отвечал Карлос. – Мы должны опасаться только охранного отделения и уголовного розыска, а раз они бездействуют, мы-то уже можем действовать!..

– Есть еще кое-кто!

– Кто же?

– *Дружки с лужка...* Вчера я видел *Чистюльку*... Он затемнил одну семью, и у него на десять тысяч *рыжевья* пятифранковиками.

– Его арестуют, – сказал Жак Коллен. – Это убийство на улице Буше.

– Ваш приказ? – спросил Паккар почтительно: так, вероятно, держал себя маршал, явившийся за приказаниями к Людовику XVIII.

– Выезжать каждый вечер в десять часов, – отвечал Карлос. – Рысью ехать в Венсенский лес, в Медонские леса, в Виль д'Авре. Ежели станут следить, преследовать, не мешай, будь податлив, разговорчив, продажен. Болтай про ревность Рюампре, который без ума от мадам и до смерти боится, как бы не пронюхали важные господа, что любовница у него из тех самых...

– Понятно! Надо вооружиться?..

– Отнюдь нет! – с живостью сказал Карлос. – Оружие?.. А на что оно тебе? Натворить бед? Забудь, что при тебе охотничий нож. Чего бояться, если ударом, который я тебе показал, можно переломить ноги самому крепкому человеку?.. Если можно вступить в драку с тремя вооруженными полицейскими в полной уверенности, что двое будут уложены на месте, прежде чем они вытащат свои тесаки?.. Ведь при тебе твоя палка!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.